

C O N T E N T S

Вѣра Инбер	
Vera Inber	7
Мáя	8
Maуа	9
Борис Горбáтов	
Boris Gorbatov	35
Рóды на Огурéчной Землé	36
Childbirth on Cucumber Land	37
Игорь Забéлин	
Igor Zabelin	65
Без свидéтелей	66
Without Witnesses	67
Валентин Катáев	
Valentin Katayev	113
Отче наш	114
Our Father	115
Юрий Нагíбин	
Yuri Nagibin	135
Комарóв	136
Комарóв	137
Константин Паустóвский	
Konstantin Paustovsky	153
Слúчай с Диккенсом	154
A Dickens Incident	155
Притóчная травá	156
Good Luck Flower	157
Шипóвник	162
Sweet Briar	163
Стáрый пóвар	186
The Old Cook	187
Снег	194
Snow	195
Notes	210

VERA INBER

Vera Inber was born in Odessa in 1890.

She published her first collections of poems in 1912. However, according to Vera Inber herself, her "biography as a real writer" began in the 1920's after she had moved to Moscow and begun to contribute to central newspapers and magazines. At the time Inber wrote numerous collections of verse and prose (*Tales*, 1925; *The Boy with Freckles*, 1926; *To a Son Who Is Not*, 1927, etc.).

During the Great Patriotic War Vera Inber stayed in besieged Leningrad. She contributed to the *Leningrad Pravda* and other newspapers. It was during those years that her best works were written: the poem *The Pulkovo Meridian*, 1942, and *Almost Three Years* (*Leningrad Diary*), 1945.

Maya is one of Inber's early works.



МАЯ

1

На южном берегу, у самого Чёрного моря, лежит город. Он мал. В нём есть старая генуэзская крепость, состоящая из обломков, полыни и ящериц. В нём есть кофейня, где столетняя глициния, ползущая по навесу, роняет в кофе лепестки. Есть базар, заваленный летом камбалой и персиками. У молодой кукурузы на базаре седые очаровательные волосы и мелкие зубки: всё остальное покрыто зелёным капором. В городе есть кино, два-три учреждения, но в конце каждой улицы есть море — и всё пустяки по сравнению с ним. На песке растянута сеть, и то на спине, то на брюхе отдыхают лодки. Порой волна взбегает на песок и, шипя, исчезает.

Ночью город, обливаемый луной, похож на спящую рыбу. Черепица его крыш блестит, как чешуя, узким хвостом уходят вдаль виноградники, и ветер играет ими. А на берегу, там, где полагается быть рыбьей головой, блестит одинокий глаз — лампа смотрителя музея.

Ибо в городе есть музей.

На закате жены рыбаков судачат. Сами они черны от солнца, передники их ярко-красны, и все вместе напоминают издали корку чёрного хлеба с ломтиком помидора.

Поджидая мужей и готовя ужин, женщины толкуют между прочим и о том, что старый Ставраки, нынешний смотритель музея, а раньше просто богатый человек, что этот самый Ставраки — внук контрабандиста. Несомненно, что Николай, его дед, занимался контрабандой и промышлял беспощинным табаком. Правда, кроме того, ему повезло: привалило наследство,* когда его компаньон, русский купец, утонул, не справившись с парусом... Но один бог знает, как в действительности

8

MAYA

1

On the south coast, close to the Black Sea, lies a town. It is small. In it is an old Genoese fortress consisting of debris, wormwood and lizards. In it is a coffee-house, where a hundred-year-old wistaria creeping up the awning drops petals into your coffee. There is a bazaar, piled in summer with flounder and peaches. The sweet corncobs at the bazaar have charming grey hair and fine teeth; all the rest is covered with a green hood. The town has a cinema and two or three offices, but at the end of every street is the sea, and everything else is trivial in comparison with it. On the sand nets are spread out and boats rest, some on their back, some on their belly. Occasionally a wave rolls up on to the sand and vanishes with a hissing sound.

At night the town, bathed in moonlight, is like a fish asleep. The tiles on its roofs glisten like scales, the vineyards trail off into the distance like a narrowing tail, and the wind plays with them. And on the shore, where the fish's head should be, shines the museum curator's lamp like a solitary eye.

For in the town there is a museum.

At sunset the fishermen's wives gossip. They are dark with sunburn, their aprons bright red, and from afar the whole reminds you of a crust of rye bread with a slice of tomato.

Waiting for their husbands and cooking the supper, the women discuss, among other things, the fact that old Stavraki, now curator of the museum and formerly just a rich man, is a smuggler's grandson. There is no doubt that Nikolai, his grandfather, went in for smuggling and traded in duty-free tobacco. True, besides that he was lucky: he came into an inheritance when his partner, a Russian merchant, being unable to manage the sail, was drowned. But God alone knows what that sail looked like in reality, whether it

9

вглядывал этот парус: не было ли у него чёрной бороды и широких штанов и не звался ли он Николаем Ставраки?

Наверно ничего не известно, но с той поры пришло к Николаю Ставраки богатство. Он выстроил себе прекрасный, просторный дом и разложил по столам и диванам диковинки, вывезенные из чужих земель. Среди них была персидская шаль, белая с розовым, как розы в снегу.

Сын Николая, Адриан, уже не занимался ничем предосудительным. Он жил в большом городе, в Одессе. Там у него была лавка, где продавались канарейки и кораллы. На этом он страшно разбогател. Что касается его сына, тоже Адриана, то он даже не взглянул на лавку. Он продал её, завёл торговлю фруктами, но сам торговать не стал, а нанял управляющего. Он поехал за границу, долго жил там, но не женился. Потом он вернулся в родной город, перестроил дедовский дом и поселился в нём навсегда. Он не только перестроил его, но и украсил неслыханно прекрасно... Персидская шаль дёда уже не страдала от одиночества: у неё была целая коллекция подруг, таких же шалей, и таких же персидских. Кроме них, были картины, статуи, старинная мебель, кружева и камни, — одним словом, всё, что может себе позволить богатый человек.

Так жил молодой Ставраки, пока тоже не превратился в старика.

Но тут произошла революция.

Был издан приказ, что красивые вещи принадлежат всем, но что брать их себе домой нельзя. Они должны находиться в отдельном доме, который называется музеем, и по воскресеньям и даже по будням, кроме понедельника, каждый имеет право смотреть на них, не трогая руками. Таким образом, дом Адриана Ставраки превратился в музей, а его бывший хозяин — в смотрителя музея. Ему отвели угловую комнату, где раньше жила большая белая статуя, изображающая голую девушку с зеркалом.

На парадной лестнице посадили дочку старой лавочницы Диамандо, и она выдавала желающим билетики, хотя вход был бесплатный. И по воскресеньям и по будням, кроме понедельника, каждый мог убедиться, что

hadn't a black beard and wide trousers and whether its name wasn't Nikolai Stavraki.

Nothing is certain, but from then on wealth came to Nikolai Stavraki. He built himself a fine roomy house and placed on his tables and divans curios brought from foreign lands. Among them was a Persian shawl, white and pink like roses on snow.

Nikolai's son Adrian, unlike his father, did not engage in anything objectionable. He lived in a large city, Odessa. There he had a shop, where canaries and corals were sold. He got terribly rich out of this. As for his son, also named Adrian, he did not even look at the shop. He sold it and set up a fruit business. He did not trade himself, but hired a manager. He went abroad, lived there a long time, but did not get married. Then he returned to his native town, rebuilt his grandfather's house and settled in it for good. He not only rebuilt it, he decorated it with unheard-of splendour.... The grandfather's Persian shawl no longer suffered from loneliness, it had a whole collection of friends, shawls like itself and just as Persian. Besides, there were paintings, statues, antique furniture, lace and precious stones, in short, all a rich man could afford.

Thus the young Stavraki lived until he also grew old.

But then came the revolution.

A decree was issued that beautiful things belonged to everybody but were not to be taken home. They were to be located in a special house called a museum, and on Sundays and even weekdays, except Mondays, everybody had the right to look at them, but not to touch them. Thus Adrian Stavraki's house was transformed into a museum and its former owner into the museum curator. They assigned him the corner room, formerly occupied by a large white statue of a girl in the nude with a mirror.

The daughter of the old shopkeeper Diamando was installed on the main staircase and gave tickets to those who wanted them, although admission was free. And on Sundays and weekdays, except Mondays, anyone could see for himself

старый Ставраки хорошо охраняет народное добро, что ни одна из персидских шалей не проедена молью, что кинжалы не потемнели и что статуя голой девушки, очевидно, вымытая мочалкой, так и сверкает.

2

День воскресный,* и народу в музее особенно много. Дочь Диамандо разрывается на части, выдавая входные билеты и отбирая у посетителей зонтики, палки и даже трубки. Последнее правило особенно строго соблюдается, после того как рыбак Христо, остановившись перед картиной итальянского художника, воскликнул:

— Паршивая лодка! Будь я проклят, если в ней можно выгрести против ветра у мыса! Корма низкая.*

И, говоря это, он так стукнул трубкой по старому холсту, что на нежной поверхности моря образовалась дырка, после чего комсомолец, молодой русский парень Павел Зуев, с укором сказал ему:

— Мы, товарищ Христо, считали вас сознательным,* а вы проявили себя наоборот.* Разве мыслимо к предметам искусства прикасаться даже пальцем? Ни в коем случае. — Он подумал, почесал затылок и прибавил задумчиво: — Но корма действительно никуда.*

И теперь, принимая во внимание опыт прошлых дней, трубки неукоснительно отбираются у входа.

Адриан Адрианович,* обеспокоенный бурным наплывом любителей прекрасного, вопреки своему обыкновению, выходит в большую квадратную комнату с окнами на море, бывшую столовую, а теперь лучшую сокровищницу музея, где по стенам бегут помпейские фрески, а с потолка свешивается бронзовый фонарь времён Возрождения.

Грузная фигура Адриана Адриановича, его чесучевый пиджак, его полуседая борода и хмурый взгляд из-под роговых очков — всё это производит на посетителей смутное впечатление. Ткачиха Дорочка, приехавшая с экскурсией, загорелая, стремительная, блестящая спортсменка, побившая все рекорды на всесоюзных состязаниях плавания, стоя перед холстом, где изображена жён-

12

that old Stavraki took good care of public property, that not one of the Persian shawls was moth-eaten, that the daggers were not tarnished and that the statue of the girl in the nude, apparently sponged down, was as shining as ever.

2

It was a Sunday and there were exceptionally many people in the museum. Diamando's daughter was outdoing herself giving out admission tickets and taking from visitors umbrellas, canes and even pipes. This last rule was observed with particular rigour ever since Christo, a fisherman, stopping before a painting by an Italian artist, had shouted:

"A lousy boat! I'll be damned if one can row against the wind in it by the cape. The stern is too low."

And saying this he had struck the old canvas with his pipe so that a hole appeared on the delicate surface of the sea, after which a Communist Youth League member, the young Russian Pavel Zuyev, had said to him reproachfully:

"We considered you a man of awareness, Comrade Christo, but you have shown yourself just the opposite. Is it thinkable to touch an object even with the fingers? In no circumstances!" He reflected a while, scratched the back of his head, and added thoughtfully: "But that stern is indeed no good."

And now, considering the experience of previous days, pipes were rigorously taken away at the entrance.

Adrian Adrianovich, disturbed by the heavy flow of lovers of the beautiful, went out, contrary to his habit, into the large square room facing the sea, formerly his dining-room, now the museum's best treasure-room, where Pompeian frescos ran round the walls and a bronze Renaissance lamp hung from the ceiling.

The ponderous figure of Adrian Adrianovich, his tussore jacket, his greying beard and his sullen look from behind his horn-rimmed spectacles, made a troubling impression on visitors. Dorochka, a sunburnt and impulsive textile worker and a brilliant sportswoman who had broken all records at Union swimming competitions, had come with a group of sightseers. Standing in front of a canvas represent-

13

щина с младенцем, в негнувшемся платье, в косах, перевитых жемчугом, объясняет товаркам:*

— Посмотрите только на её платье... Какая адская работа! Купаться они тоже не любили. Конечно, они вели паразитический образ жизни. Но...

Она вглядывается в лицо, ловит там тень тени улыбки и добавляет почти шепотом:

— Но всё же она очень красива.

И рыбак Христо, на этот раз без трубки, подтверждает:

— Красивая женщина и, главное, добрая. Видно по тому, как она держит ребёнка.

В это время мимо проходит Адриан Адрианович, и Дорочка умолкает.

У другой стены, перед слепком микеланджеловского Давида, стоит приезжий пионер. Он стоит, широко расставив ноги и заложив руки за спину. Шляпа сдвинута на затылок, красный галстук завязан на груди. Наконец, он щёлкает пальцами и восклицает:

— Способный старик!

— Кто? — спрашивает Адриан Адрианович, не веря своим ушам.

Но пионера не так легко смутить, как ткачиху Дорочку.

— Конечно, Микеланджело, — отвечает он. — Ведь это же какие бицепсы у его парнишки! А ноги! Да знаете ли вы, что если он пустится бежать, то он всех побьёт на какой угодно дистанции, даже если даст фёры.

3

Воскресный день окончен. Последний, самый настойчивый посетитель, приходящий в музей ежевечерне для того, чтобы не отрываясь глядеть на черноглазую билетёршу, тоже ушёл. Адриан Адрианович, сидя в своей угловой комнате, отдыхает. В широко раскрытое окно вливаются тишина, море и луна. Корешки книг в стеклянном шкафу отливают золотом. На письменном столе в венецианском бокале распускается роза.

Одноглазый Афанасий, сторож музея, он же кухарка Адриана Адриановича, он же прачка и он же горничная,

14

ing a woman with a baby wearing a stiff dress and tresses intertwined with pearls, she was explaining to her companions:

“Just look at her dress... A hell of a job! They did not like bathing either. Of course they led a parasite life. But...”

She looked closely at the woman's face, caught the faintest shadow of a smile and added almost in a whisper:

“But still, she's very beautiful.”

And Christo the fisherman, without his pipe this time, corroborated:

“A beautiful woman, and above all, kind. You can see by the way she holds the child.”

Just then Adrian Adrianovich went by and Dorochka lapsed into silence.

At the other wall, in front of a mould of Michelangelo's David, was a Young Pioneer, also a visitor to the town. He was standing with feet wide apart and hands behind his back. His hat was tilted to the back of his head and his red tie was knotted on his chest. At last he snapped his fingers and exclaimed:

“A capable old man!”

“Who?” asked Adrian Adrianovich, not believing his own ears.

But the pioneer was not so easy to embarrass as Dorochka the textile-worker.

“Michelangelo, of course!” he answered. “See what biceps his boy's got. And his legs! Do you know, if he went racing he'd beat anybody over any distance, even if he gave him a start.”

3

Sunday was over. The last and most persistent visitor, who came to the museum every evening to look at the dark-eyed usher without interruption, had left. Adrian Adrianovich was sitting in his corner room resting. Through the wide open window flowed in stillness, sea and moon. The backs of the books in the glazed bookcase were shot with gold. In a Venetian glass on the table a rose was opening out.

One-eyed Afanasy, the museum watchman, who was also Adrian Adrianovich's cook, laundress and general maid,

15

приносит на подносике ужин: каймак* в плоском глиняном сосуде, лепёшку, масло и сотовый мёд на виноградном листе. Прекрасный ужин, от которого не отказался бы и древний грек. Кроме того, Афанасий приносит несколько писем — проштемпелёванный улов, который нынче выплеснуло море жизни на письменный стол старого Адриана Ставраки.

Адриан Адрианович не спеша ест и просматривает корреспонденцию. Лунa и лампа освещают его волосы и широкие плечи.

Письма мало интересны. Два-три от его коллег, таких же музейных людей. Один предлагает древнюю новгородскую икону (у него их несколько) в обмен на траурную античную урну, не моложе четвертого века до рождества Христова. Другой спрашивает, как предохранить пергаментные свитки от высыхания. И всё в том же роде. Одно письмо из центра и собственно даже не письмо, а официальное распоряжение Наркомпроса. Наконец, вот настоящее письмо. Пишет из Парижа старый друг, поэт, прозябающий в изгнании. Поэт пишет: «Ты знаешь, что, несмотря на суровую внешность, я всегда был галантен с дамами. Двух, только двух я не выношу. Первая — это Смерть, вторая — Революция. Но с первой я знаком, к счастью, только понаслышке. Зато вторая...»

Адриан Адрианович в знак согласия кивает головой. Лунa спокойно плывёт над морем, обливая серебром и чёрною небольшую яхточку, стоящую на якорю против школы второй ступени.*

И ещё одно письмо. На дешёвом, невыразительном конверте бледно проямлены* буквы адреса. Адриан Адрианович вскрывает конверт и читает: «Дорогой, милый дядя!»

Он останавливается: дядя — чей же это он дядя? Вспомнил. У него действительно была племянница. Звали её Аглая. С нею как будто что-то случилось. Вспомнил. Она вышла замуж за коммуниста. Так что же она хочет, эта Аглая с нежным профилем византийской царицы Феодоры? Она так долго не подавала никаких признаков жизни, и вот теперь она пишет. Оказывается, она хворает (впрочем, это понятно). Мужа её послали в Сибирь насаждать кооперативы,* а ей с детьми необ-

brought in supper on a small tray: cream in a crock, a flat cake, butter and comb honey on a vine leaf. An excellent supper, which even an ancient Greek would not have refused. Besides, Afanasy brought a few letters, the stamped catch that the sea of life now washed up on the old Adrian Adrianovich's desk.

Adrian Adrianovich ate without haste and looked through his mail. The moon and the lamp lit up his hair and broad shoulders.

The letters were of little interest. Two or three from his colleagues, museum people like himself. One offered an ancient Novgorod icon (he had several) in exchange for an antique funeral urn dating back at least to the fourth century B. C. Another asked how to keep parchment scrolls from drying. And all of the same kind. One letter was from the capital, not even a letter really, but an official order from the People's Commissariat of Education. Here, at last, was a real letter. A friend wrote from Paris, a poet eking out a living in exile. He wrote: "You know that notwithstanding my strict appearance, I have always been a gallant. Two ladies, and only two, I cannot bear. The first is Death, the second Revolution. With the first I am acquainted, fortunately, only by hearsay. As for the second..."

Adrian Adrianovich nodded in assent. The moon was floating restfully over the sea, splashing silver and black over a small yacht lying at anchor opposite the secondary school.

There was another letter. The address was scrawled in colourless letters on the cheap drab envelope. Adrian Adrianovich opened the envelope and read: "Dearest Uncle."

He stopped: uncle—whose uncle was he? He remembered. He did actually have a niece. Her name was Aglaya. It seemed something had happened to her. He remembered. She had married a Communist. Well, what did she want, that Aglaya with the delicate profile of the Byzantine Empress Theodora? For so long she had given no sign of life and here she was now writing. It appeared she was ill (that, by the way, was understandable). They had sent her husband to Siberia to set up cooperatives, but she and the chil-

ходимо море. Она вспомнила о милом, дорогом дяде и думает, что он не откажет ей в гостеприимстве. Она ждёт телеграфного ответа.

Адриан Адрианович долго размышляет. С одной стороны, лето, конечно, пропадёт. Но с другой стороны — Аглая крошкой была мила и забавна... Она любила плоды и сказки. Однажды, увидав кокосовый орех, она сказала:

— Если это мяч, почему он не прыгает, а если обезьяна, то где хвост?

Адриан Адрианович будит Афанасия в его чуланчике под лестницей, куда лунный свет проникает, как кинжал, сквозь узкое окно, даёт ему записку и деньги и говорит:

— Завтра утром отнесёшь на телеграф. — И, уже уходя, добавляет: — И приведёшь в порядок запасную комнату, где стоят старые рамы.

4

Извозчик Костя,* чья пролетка, единственная в городе, снабжена рессорами, подъезжает к крыльцу и высаживает гостей. Сначала он извлекает из недр своего экипажа бледную незнакомую женщину (не Аглаю) с младенцем на руках, затем большой чемодан, затем маленький чемодан. И, наконец, с высокой подножки спрыгивает Аглая, точно такая, как в день кокосового ореха. У Аглай тот же маленький нос, на котором три разнокалиберные веснушки расположены, как дырочки на трёхдырочном перё. У Аглай та же каштановая гривка* и глаза как у византийской царицы.

— Здравствуйте, дядя, — говорит незнакомая бледная женщина (не Аглая). — Дядя, вы не узнаете меня? Я — Аглая. А вот моя дочь, ей шесть лет, а это мой сын, ему одиннадцать месяцев, и у него уже три зуба.

Адриан Адрианович, при помощи Афанасия, вводит гостей в дом, водворяет их и, наконец, умытых и освежённых, кормит поздним обедом в своей угловой комнате. Младенец с тремя зубами, утомлённый путешествием, спит тут же в кресле. Адриан Адрианович разговаривает с настоящей Аглаей, а сам всё глядит на её дочь, похожую на малолетнюю Феодору. Феодора мол-

dren needed the sea. She had remembered her dearly beloved uncle and thought he would not refuse to show her hospitality. She would expect an answer by telegram.

Adrian Adrianovich reflected for a long time. On one hand the summer would, of course, be spoilt. But on the other hand, Aglaya as a tot had been sweet and amusing.... She had liked fruit and fairy tales. One day, seeing a coconut she had said:

“If that’s a ball why doesn’t it bounce, and if it’s a monkey, then where’s its tail?”

Adrian Adrianovich woke Afanasy in his box-room under the stairs, where the moonlight penetrated like a dagger through a narrow window. He gave him a note and money and said:

“Send this wire tomorrow morning.” And already going out he added: “And tidy up the spare room, where the old frames are.”

4

Cabman Kostya, whose cab was the only one in the town equipped with springs, drove up to the porch and helped the guests alight. First he extracted from the depths of his vehicle a palefaced unknown woman (not Aglaya) with a child in her arms, then a large suitcase, and then a small suitcase. And at last Aglaya jumped down from the high footboard, exactly the same as on the coconut day. Aglaya had the same small nose on which there were three different-sized freckles like the three holes on a pen-nib. She had the same chestnut hair and eyes as the Byzantine Empress.

“Hello, uncler!” said the unknown palefaced woman (not Aglaya). “Uncle, don’t you recognize me? I’m Aglaya. And here is my daughter, she’s six years old, and this is my son, he’s eleven months and has already three teeth.”

With Afanasy’s help Adrian Adrianovich led his guests into the house, settled them down, and finally served them, washed and refreshed, a late lunch in his corner room. The child with the three teeth, exhausted by the journey, was already asleep in an armchair, Adrian Adrianovich talked to the real Aglaya and kept looking at her daughter, who was like the juvenile Theodora. Theodora remained silent,

чит и уплетает за обе щеки баранью котлету. Дети всегда дети. Они всегда одинаково любят плоды и сказки. И эти плоды и сказки неизменны. Аглая, например, больше всего любила апельсины. И Адриан Адрианович, взяв из вазы большой золотистый шар, подаёт его Аглаиной дочери.

— Я больше люблю яблоко, — отвечает та звонким голосом.

Адриан Адрианович поражён:

— Почему же? Ведь апельсин вкуснее.

— Зато яблоко твёрдое, и его можно грызть.* А апельсин как-то сам жуётся, — говорит с полным самообладанием дочь Аглаи и, минуя апельсин, берёт себе твёрдое румяное яблоко.

Со стола убрано. Афанасий, с трудом справляясь с метлой, подметает пол. Аглая обрисовав Адриану Адриановичу в кратких чертах свою жизнь за эти годы, равно как и положение кооперации в Сибири, уходит к себе в комнату кормить сына манной кашей. Адриан Адрианович остаётся один со своей внучатной племянницей.

Как это часто бывает на юге ранней весной, закат суров. Крепкий ветер ерошит море, и оно покрывается короткими гневными волнами. Ветер хлопает дверьми, треплет в саду кусты жасмина и, наконец, выждав захода солнца, бросает в стекло первый пучок дождевых капель. В комнате опускают шторы и решают затопить камин.*

Дрова принесены. Камин зажжён, и пламя бушует так же грозно, как, вероятно, бушевало в контрабандистские ночи Николая Ставраки, а ещё раньше — во всех очагах земли. Адриан Адрианович решает, что наступил час для более близкого знакомства с новой родственницей. Она сидит на корточках перед огнём. По её лицу видно, что она вполне отдохнула с дороги, очень сыта, довольна жизнью и расположена к дружеским беседам.

— Ну, дитя моё, — начинает Адриан Адрианович, взяв кочергу и тоже садясь на ковёр, — давай потолкуем. Ведь я даже не знаю, как тебя зовут.

— Майя. А тебя, я знаю, зовут Адриан и ещё Адрианович. Но я буду звать тебя дедушкой.

— Зови, дитя. Майя* — прекрасное и содержатель-

eating her mutton chop with great gusto. Children will be children. They will always love fruit and fairy tales. And fruit and fairy tales are unchanging. Aglaya, for instance, liked oranges best of all. And Adrian Adrianovich, taking a large golden globe out of the bowl, offered it to Aglaya's daughter.

"I like apples better," she answered in a ringing voice.

Adrian Adrianovich was amazed.

"But why? Oranges are tastier, you know."

"But apples are hard, you can get your teeth into them. Whereas oranges don't need chewing," said Aglaya's daughter with perfect composure, and by-passing the orange she took a hard rosy apple.

The table had been cleared. Afanasy swept the floor, managing the broom with difficulty. Aglaya, having briefly outlined to Adrian Adrianovich her life during the past years as well as the state of the cooperatives in Siberia, retired to her room to feed her son with semolina. Adrian Adrianovich remained alone with his grand-niece.

As often happens in the south during the early spring, the sunset was grim. A strong wind ruffled the sea, which became covered with short angry waves. The wind slammed doors, worried the jessamine bushes in the garden and finally, waiting till the sun had set, threw the first bunch of raindrops at the window-panes. In the rooms curtains were drawn and it was decided to light the fire.

Firewood was brought in. The fire was lit and the flames roared as menacingly as they probably did on Nikolai Stav-raki's smuggling nights, and still earlier in all the fireplaces of the earth. Adrian Adrianovich decided the time had come to make closer acquaintance with his new relative. She was squatting in front of the fire. You could see by her face that she was perfectly rested from her journey, had eaten her fill, was satisfied with life and in a mood for friendly conversation.

"Well, my child," Adrian Adrianovich began, picking up the poker and sitting down beside her on the carpet, "let's have a chat. Why, I don't even know your name."

"Maya. I know yours is Adrian and then Adrianovich. But I'll call you grandfather."

"Yes, do, child. Maya is a name of great beauty and mean-

ное имя. По-индусски означает — мечта, иллюзия. Если у тебя нет носового платка, милая, возьми мой.

— Нет, не «мечта», а «Первое мая», и не по-индусски, а по-русски.

— Первое мая... Вот как. А сколько же тебе лет, Мая, девочка? Мама сказала мне, но я забыл.

— Шесть лет. Я на три года моложе революции, но расту вместе с ней. А тебе сколько, дедушка?

— Шестидесят один, — покорно отвечает Адриан Адрианович и с раздражением спрашивает: — А кто тебе это сказал про тебя и революцию?

— Папа сказал. Он всё знает. А знаешь, как зовут нашего мальчика? Его зовут Рэм.*

— Прекрасно, — облегченно вздыхает Адриан Адрианович, ударив кочергой по головешке. — Теперь необ ходим только Ромул. Надеюсь только, что его вскормила не волчица.

— Нет, у нас была коза, потому что мы жили за городом. А, дедушка, что значит Ромул?

— Что значит?

— Да. Из каких слов? Рэм значит: революция, элект... рификация, метарул... металлургия. А Ромул? — как это?

— Мая, — в полном отчаянии произносит Адриан Адрианович, — а ты любишь сказки?

— Люблю, — отвечает Мая. — Про то, как мальчик поехал в город Ташкент за хлебом.*

— Нет, девочка, это рассказ.

Сильный порыв ветра пронесется над домом. За окном мрачный ветер, шумит море. В комнате горит огонь. Великолепная оправа для жемчужины, какой является сказка, рожденная в раковине народной мудрости.

— Слушай, Мая, — говорит Адриан Адрианович, — я сейчас расскажу тебе сказку, — точнее говоря, миф.

— А что такое миф? — немедленно спрашивает Мая.

— Миф — это тоже сказка, только старая-престарая и оттого еще более прекрасная. Сядь поближе и возьми все-таки мой платок.

Мая, округлив глаза, вливается ими в Адриана Адриановича, и сказка начинается.

— Очень давно, — начинает Адриан Адрианович, — жила на свете девочка Прозерпина. Она была прелест-

ing. In Hindu it means 'dream' or 'illusion'. If you haven't got a handkerchief, my dear, take mine."

"No, not 'dream', but 'May the First', and not in Hindu, but in Russian."

"May the First. Really? And how old are you, Maya, my girl? Your mother told me, but I've forgotten."

"Six. I'm three years younger than the Revolution, but I'm growing with it. How old are you, grandfather?"

"Sixty-one," Adrian Adrianovich answered submissively and then asked irritably: "But who told you what you said about yourself and the Revolution?"

"Daddy. He knows everything. Do you know what our boy's name is? It's Rem."

"Fine." Adrian Adrianovich sighed with relief, striking a glowing brand with the poker. "Now all you need is a Romulus. Only I hope it wasn't a she-wolf that reared him?"

"No, we had a goat, because we lived in the country. But, grandad, what does Romulus mean?"

"What it means?"

"Yes. What words is it made of? Rem means revolution, elect... rification and metar... metallurgy. But what does Romulus mean?"

"Maya," said Adrian Adrianovich in utter despair, "do you like fairy tales?"

"Yes, I do," replied Maya. "About how the boy went to Tashkent for bread."

"No, child, that's a story."

A strong gust of wind swept over the house. Outside the wind was dreary, the sea roared. In the room the fire was burning. A magnificent setting for a fairy tale—a pearl born in the shell of folk wisdom.

"Listen, Maya," Adrian Adrianovich said, "I shall now tell you a fairy tale, or a myth, to be exact."

"What's a myth?" Maya immediately asked.

"A myth's a fairy tale too, only a very, very old one and because of that still more beautiful. Sit closer to me and take my handkerchief all the same."

Maya opened big round eyes and fixed them on Adrian Adrianovich, and the fairy tale began.

"A very long time ago," Adrian Adrianovich started, "there lived a girl named Proserpina. She was lovely. If you

на. Если мы с тобой когда-нибудь поедem в Париж, я покажу тебе Прозерпину такой, какой изобразил её художник Морó: с чёрными кудрями, смуглую, с гранатом в руке и губами, напоминающими полуоткрытый гранат. Однажды случилась такая вещь: Прозерпина со своими подругами собирала на лугу белые цветы.

— Ромашки?

— Нет, не ромашки. Вероятно, это были нарциссы, только больше и душистее теперешних. Она шла, и цветов становилось всё больше. Прозерпина, оставив подруг, уходила всё дальше... И вдруг... — Адриан Адрианович встал, отодвинул кресло и кочергой провёл по полу. — Ты представляешь себе: скамеечка для ног — это Прозерпина, цветы на ковре — настоящие цветы. И вдруг у книжного шкафа разверзается земля — и в колеснице, запряжённой огнедышащими конями, появляется Плутон, у которого там, внизу (Адриан Адрианович постучал кочергой об пол), было своё царство. Он, как цветок, схватил Прозерпину, и земля сомкнулась над ними.

— Плутон жил в подвале? — замирающим голосом спрашивает Мая.

— Не в подвале, а под землёй. У него там были свои владения. Там было всё как на земле, только никогда не светило солнце и не шёл дождь, как вот сейчас.

— Дальше, рассказывай дальше, — торопит Мая.

«Ага! — злорадно думает Адриан Адрианович, ставя кресло на место. — Ты хочешь дальше? Я вижу, что ташкентский мальчик значительно поближе в твоём воображении».

И он рассказывает дальше:

— У Прозерпины была мать Церера. Эта мудрая и неисчерпаемо добрая женщина заведовала всеми растениями * на земле. Узнав о несчастье с Прозерпиной, она полетела искать её.

— На самолёте? — спрашивает Мая.

— Нет, пешком. Но она ничего не узнала. Тогда, сняв с себя богатый плащ, затканый колосьями,* и облачившись в рубище, она пошла в чужие края. А за то, что никто из земных созданий не открыл ей тайну исчезновения Прозерпины, она наказала землю, лишив её цветов и плодов. В тот год не было ничего.

and I ever go to Paris, I'll show you Proserpina as the painter Moreau saw her, dark, with black curls, with a pomegranate in her hand and lips that looked like a half-open pomegranate. Here is what happened one day. Proserpina and her companions were picking white flowers in a meadow."

"Daisies?"

"No, not daisies. They were probably narcissus, only bigger and more fragrant than they are now. She was going along and there were more and more flowers. Proserpina, leaving her companions, went farther and farther.... And all of a sudden...." Adrian Adrianovich rose, pushed back his armchair and ran the poker over the floor. "Imagine the footstool is Proserpina and the flowers on the carpet are real. And suddenly by the book-case the earth opens up and in a chariot drawn by fire-breathing horses there appears Pluto, who had his kingdom down below (Adrian Adrianovich tapped the poker on the floor). He picked up Proserpina like a flower and the earth closed over them."

"Did Pluto live in a cellar?" Maya asked in a voice full of suspense.

"Not in a cellar, but underground. He had his domain there. Everything there was like on the earth, only the sun never shone and there was no rain like here now."

"Go on, go on telling!" Maya urged.

"Aha!" Adrian Adrianovich thought with malicious joy, putting his armchair back in its place. "You want to know what happened after that? I see the Tashkent boy has considerably faded in your imagination."

And he went on with the tale.

"Proserpina's mother was called Ceres. That wise and infinitely kind woman had power over all the plants on the earth. Hearing of Proserpina's misfortune she flew off in search of her."

"By plane?" asked Maya.

"No, on foot. But she didn't find out anything. Then taking off her rich mantle embroidered with ears of corn and covering herself in rags, she set off for unknown regions. And because no earthly creature revealed to her the secret of Proserpina's disappearance, she punished the earth by depriving it of flowers and fruit. That year there was nothing at all."

— И яблок?

— Разумеется.

— А что же ели люди?

— Гм... Вероятно, консервы, купленные в кооперативах. Но слушай дальше... Церера шла, шла и пришла в чужое царство. Тогда всё было просто, и её тотчас же привели ко двору. А там была радость: у царя и царицы родился долгожданный сын, и царица-мать подыскивала ему...

— Козу?

— Нет, кормилицу. Когда Церера вошла в царские покои, она поразила всех своей осанкой и лицом: Узел её волос был тяжёл, как сноп, а складки одежды напоминали борозды от сохи. Глаза были глубоки, как вода. Царица сейчас же почувствовала, что всё живое должно процветать под присмотром этих глаз, и предложила Церере воспитывать сына. Церера согласилась, но с одним условием...

— Маминька, — раздаётся в это время голос Аглай, — тебе спать пора. Я и так извелась. Рэмик капризничает ужасно: четвёртый зуб режется или простудился, уж не знаю.

— Нет, нет, — просит Мая, — я должна знать, какое условие. Я ведь так не могу.

— Ещё пять минут! — кричит Адриан Адрианович в другую комнату. — Через пять минут по часам я сам приведу её. Ну вот: согласилась с одним условием, чтобы ни отец, ни мать и никакой родственник не подсматривали за ней и не давали ей советов. Чтобы ей предоставили полную свободу. Так и порешили. Время шло. Мальчик уже становился на ножки и был так здоров, красив и весел, как ни один младенец в государстве. Он ничем никогда не болел и никогда не простужался. Даже, когда у него шли зубы, он улыбался.

— Не может быть, — говорит Мая.

— Уверю тебя. Тогда царица-мать решила подсмотреть, какими средствами достигается такое чудесное здоровье.

— Спортом, — отвечает Мая. — Папа говорит...

— Молчи. Однажды, поздно вечером, когда все легли спать, царица, сняв башмаки, подкралась к дверям детской. Что же она там увидела?

“No apples?”

“Of course not.”

“Then what did people eat?”

“Hm.... Probably preserves bought at the cooperatives. But listen to the rest.... Ceres went on and on and came to an unknown kingdom. At that time everything was simple and they at once led her to the palace. Here there was rejoicing: a long-awaited son had been born to the king and queen and the queen-mother was trying to find for him....”

“A goat?”

“No, a nurse. When Ceres entered the royal apartment she astonished everyone by her bearing and her face. The knot of her hair was as heavy as a sheaf and the folds of her clothing were like furrows made by a plough. Her eyes were as deep as the waters. The queen at once felt that everything living must flourish under the gaze of those eyes and she suggested that Ceres should bring up her son. Ceres agreed, but on one condition....”

“Maya, darling,” came Aglaya’s voice just then. “It’s time for you to go to bed. I am worn out as it is. Little Rem is terribly naughty: he’s cutting his fourth tooth or else he’s caught a chill, I don’t know which.”

“Oh no, no!” Maya begged. “I must know what the condition was. I can’t go before I know.”

“Another five minutes!” Adrian Adrianovich shouted into the other room. “In five minutes by the clock I shall bring her in myself. Well, here you are: she agreed on the one condition that neither the father nor the mother nor any relative should spy on her or give her advice. That she would be given perfect freedom. And so it was decided. Time passed. The boy could already stand up and was more healthy, handsome and gay than any other infant in the country. He was never ill in any way and never caught colds. Even when he cut his teeth, he smiled.”

“That’s impossible,” said Maya.

“I assure you. Then the queen-mother decided to take a look and see by what means such marvellous health was achieved.”

“By sport,” answered Maya. “Daddy says....”

“Be quiet. Once, late in the evening when all had gone to bed, the queen took off her shoes and stole up to the nursery door. And what did she see there?”

— Что? Ну, что?

— В дѣтской горѣл очаг.* Груда углей сверкала червонным золотом, вот как здесь. Церера раздѣла малютку и внимательно осмотрѣла его тѣльце. Набоѣ дитя, бѣлое, как пѣна, глядѣло на огонь, и пламя отражалось в тѣмных зрачках. Церера подошла к очагу, разгребла уголья и, как в песок, посадила туда ребѣнка.

— Ах! — шѣпотом вскрикивает Мая.

— Да. А мальчик смеялся. Он был счастлив. При видѣ сына в огнѣ царица испустила громкий крик. И, как бы в отвѣт, отчаянно заплакал ребѣнок, ощутивший боль.

— Как? Я не понимаю.

— Это было волшебное средство. Не нужно забывать, что Церера была богиня. Она хотѣла сделать из ребѣнка неуязвимаго героя и уже добилась того, что он не ощущал, например, ожогов. Но смертный глаз не должен был ничѣго этого видѣть. Мать все испортила.

— Неуязвимаго героя... — повторяет Мая мечтательно. — Но мать все испортила. А что такое богиня?

— Пять минут прошло, — заявляет Аглая, появляясь на пороге. — Я требую, чтоб ты немедленно шла спать. Уже поздно. Рэмик тоже, наконец, уснул. Измучил он меня.

— Идем, идем, Мая, — говорит Адриан Адрианович, вставая. — Мы слово дали.

— А Про... зerpина? Что стало * с ней?

— Я доскажу тебе завтра, если тебе интересно.

— Мне интересно.

Мая медленно идет к двери. Движения ее неуверенны, глаза пристально раскрыты. Очевидно, перед ней далѣкий очаг, царский ребѣнок, плащ в колосьях, водоворот необычных образов, в которых она тонет. У выхода она останавливается:

— Ты мне доскажешь завтра?

— Непременно.

— Но сегодня скажи мне только одно: все это правда или нет?

И тут старый и умный человек, грудью отстаивая свое собственное дѣтство, дает ребѣнку лукавый отвѣт:

— Это миф, Мая, — говорит он. — Миф. Все это бы-

“Yes, what! What?”

“A fire was burning in the nursery hearth. A heap of coals were glowing like pure gold, just like here. Ceres undressed the boy and carefully examined his little body. The naked child, as white as foam, was looking at the fire and the flames were reflected in his dark pupils. Ceres approached the fire, raked the coals apart and set the child among them as in sand.”

“Oh!” exclaimed Maya in a whisper.

“Yes. And the boy laughed. He was happy. At the sight of her son in the fire the queen uttered a loud cry and as though in answer the child began to weep bitterly, feeling pain.”

“How? I don’t understand.”

“It was magic. You mustn’t forget that Ceres was a goddess. She wanted to make the child an invulnerable hero and had already succeeded in making him not feel burns, for instance. But no mortal was to see anything of this. The mother spoilt it all.”

“An invulnerable hero...” Maya repeated musingly. “But the mother spoilt it all. What’s a goddess?”

“The five minutes are up,” declared Aglaya appearing on the threshold. “I insist on you going to bed immediately. It’s late already. Little Rem has at last fallen asleep too. He has worn me out.”

“Come along, Maya,” Adrian Adrianovich said, rising. “We gave our word.”

“And what about Pro...serpina? What became of her?”

“I’ll finish telling you tomorrow, if it interests you.”

“It does.”

Maya went towards the door slowly. Her movements were uncertain, her eyes staring wide. Apparently before her were the distant fireplace, the royal child, the mantle embroidered with ears of corn, a whirlpool of unusual images in which she was foundering. She stopped at the door.

“Will you finish telling me the story tomorrow?”

“Without fail.”

“But just tell me one thing today: is all that true or not?”

And then the clever old man, staunchly upholding his own childhood, gave a crafty answer:

“It’s a myth, Maya,” he said. “A myth. It was all such

ло так давно, что никто в точности не знает, было это или нет. Спи крепко, девочка.

5

Непогода кончилась. Туча, вздрагивая зарницами, ушла за горизонт, и узкая ущербная луна встаёт над морем. Мокрые кусты жасмина усыпаны тяжёлыми благоуханными брильянтами.

На старом диване, заменяющем ему кровать, Адриан Адрианович засыпает. В камине легчайший треск догорающих углей. Сквозь незапертое окно — легчайший дым луны. Сон всё ближе и ближе подходит к старому дивану. Он трогает кисти, он трогает подушки, он касается седых волос, и Адриан Адрианович уже спит. Он видит поле ржи, которое в то же время и море. Над ним облако, крылатое,* как плащ. И вдруг из этого облака низвергается молния. Раздаётся страшный удар грома и страшный крик.

Адриан Адрианович открывает глаза. Перед камином, белёя длинной рубашкой, залитая слезами, дрожит Мая. За ней Аглая, ещё более бледная, чем днём. Отчаянно кричит маленький Рэм на руках у матери. В дверях трясётся Афанасий в нижнем белье.

— Что, что случилось? — спрашивает Адриан Адрианович, стараясь перекричать Рэма. — Зачем вы все здесь? Афанасий, дай мне валерьянку! Говорите же!

Они говорят все сразу.

— Господи милостивый! — причитает Афанасий, шаря на полке. — Иду это я* по коридору парадную* проверить и вижу, господи милостивый, — барышня* тащит младенца-брата, сама не в себе. Глазки* горят — и прямо в кабинет. Толкнуло меня будто. Я за ними, а они* младенчика в камин кладут, как головешку, господи милостивый.

— Сплю я, — всхлипывает Аглая, — слышу шорох. Открываю глаза — детей нет. Выбегаю, смотрю — Майкина рубашка мелькнула. Успела вбежать как раз в ту минуту, когда она... Рэма... в огонь. Счастье, что всё уже прогорело, почти один пепел остался. Ручка, ручка

30

a long time ago that nobody knows exactly whether it happened or not. Sleep soundly, my girl."

5

The bad weather was over. The cloud, quivering with sheet lightning, passed away over the horizon and a narrow waning moon rose over the sea. The wet jessamine bushes were strewn with heavy fragrant diamonds.

On the old couch that served him as a bed Adrian Adrianovich was falling off to sleep. In the fireplace there were soft cracklings from the dying coals. The faint haze of the moonlight came through the uncurtained window. Sleep crept nearer and nearer to the old couch. It touched the tassels, it touched the cushions, it touched the grey hair, and Adrian Adrianovich was already asleep. He saw a field of rye which at the same time was a sea. Above it was a cloud, floating like a mantle, and suddenly down from that cloud came a flash of lightning. There was a terrifying peal of thunder and a terrified shriek.

Adrian Adrianovich opened his eyes. Trembling in front of the fireplace, shining white in her long nightgown and her face bathed in tears, was Maya. Behind her stood Aglaya, paler than in the daytime. Desperately screaming in his mother's arms was little Rem. Afanasy was quaking in the doorway in his underwear.

"What's the matter? What's happened?" asked Adrian Adrianovich trying to outcry Rem. "What are you all here for? Afanasy, give me my valerian drops. Speak, will you!"

They all spoke at once.

"Merciful lord!" Afanasy wailed, groping on a shelf. "I was going along the corridor to check the front door and, merciful lord! I saw the young lady carrying her baby brother, beside herself with excitement. Her eyes were like fire. And she went straight into the study. Something seemed to push me. I went after her and she was laying the little baby in the fireplace like a piece of kindling, merciful lord!"

"I was asleep," Aglaya sobbed, "and I heard a rustling. I open my eyes—no children. Out I rush and look—Maya's nightgown flashes by. I only had time to run in just when she was... putting Rem... in the fire. Luckily it had already burnt out, hardly anything was left but ashes. My

31

болит у мальчика моего. Аа-аа, ребёнок мой, цыплёнок мой! Ах ты, скверная девчонка...

— Постой, постой, Аглая, — перебивает её Адриан Адрианович, — так нельзя. Смотри, она вся дрожит.

— Я... я хотела сделать из него... неуязвимого героя, — рыдает Мая, — но мать помешала, как в тот раз...

Все легли. Даже Рэм, присыпанный содой, уже спит. Рассвет уже тронул море, звёзды с каждым мгновением бледнеют. Но Адриан Адрианович не может спать.

Он сидит у стола и при неверном свете лампы пишет своему другу-поэту в Париж, отвечая на его письмо.

«Всё меняется, — пишет он, — даже дети. Что было хорошо для нас, губительно для них. И наоборот...»

poor child's hand, its hand hurts! Oh, my child, my little chicken! Oh, you wicked girl!"

"Wait, wait, Aglaya," Adrian Adrianovich interrupted, "you mustn't carry on like that. Look, she's trembling all over."

"I... I wanted to make him ... an invulnerable hero," Maya sobbed, "but Mother interfered like that time ..."

They all went to bed. Even Rem, powdered with bicarbonate of soda was already asleep. Dawn had already touched the sea, the stars were growing paler every minute. But Adrian Adrianovich could not sleep.

He sat at his desk and wrote by the uncertain light of the lamp to his poet friend in Paris, answering his letter.

"Everything changes," he wrote, "even children. What was good for us is fatal for them. And vice versa...."

BORIS GORBATOV

Boris Gorbatov (1908-1954) was born and spent his childhood in the Donbas. At an early age he took to literature and began writing poetry. He was also a worker-correspondent. His first book, *Kom-somol Group*, 1928, was dedicated to the Donbas workers, members of the Young Communist League. On completing his service in the Red army, Gorbatov became a special correspondent of the *Pravda*. He travelled all over the Urals, Siberia and the Far East. He witnessed the commissioning of the first blast furnace of the Magnitogorsk Metallurgical Centre and the inauguration of the Dnieper Hydroelectric Station. He described these events in his feature-stories published in the collections *Master-Workmen*, 1933, *Komintern*, 1932, *A March through the Mountains*, 1932, and others. In 1934, he published the novel *My Generation*. Gorbatov took part in the Trans-Arctic flight of 1936 and visited all the Soviet polar stations. The result of this study of the North was *Ordinary Arctic*, 1937-38. During the whole of the Great Patriotic War Gorbatov was a war correspondent of the army newspaper of the Southern Front. He went all the way from the Northern Caucasus to Berlin with the army. At this time he wrote *Letters to a Friend*, *Stories about the Soldier's Heart*, *The Soldier Alexei Kulikov* and *Unconquered*. Gorbatov wrote plays and film scripts. In 1951, the first volume of his novel *Donbas* (Eng. tr. *Taras' Family*) appeared.



РОДЫ НА ОГУРЕЧНОЙ ЗЕМЛЕ

На Огуречной Земле случилось несчастье. Огуречная Земля — далёкий, уединённый островок в Полярном море,* — напрасно вы будете искать его на карте под таким названием. На карте у этой крошечной точки есть своё, вполне благозвучное и даже поэтическое имя. Но полярные радисты упрямо зовут её Огуречной Землей, и попробуйте-ка разубедить их! Это такой народ, радисты! Пересмешники. Скучно им в своих рубках, что ли?*

Впрочем, странное это название имеет свою историю. Островок открыли недавно, совсем недавно, и начальник партии, лихо и наспех производя съёмку вновь открытой земли (его торопили льды, убедительно смыкавшиеся вокруг ледокола), тут же составил донесение, в котором писал: «Вновь открытый остров имеет форму огурца». И радисты, — а через их руки неминуемо проходит всё, — окрестили нового гражданина семьи полярных островов Огуречной Землей.

Островок вскоре приобрёл немалое значение, — он был так далёк! Исследователи потирали руки: теперь то мы доберёмся до многих тайн Ледовитого моря. Синоптики облегчённо вздохнули: ещё одна печь появилась на кухне погоды. Молодые полярники мечтали об Огуречной Земле, как о невесте. Им грёзилось* несказанные её прелести, и не было таких подвигов, на которые не пошли бы они, только бы её завоевать. Они снисходительно говорили: «Что Диксон, Тикси, Челюскин*? Это уже освоено. Это всё равно, что дома. А там...» И волнуемым шепотом прибавляли: «Шутка ли! Семьдесят восьмой градус...»

Итак, земля, имеющая форму огурца, стала обитаемой. На нетронутом снегу, рядом с большими, круглыми, как чаша, следами медведя появились острые, напёрстные человеческие следы. Возникли здания. В торах родилась жизнь. И были уже у людей свой буд-

CHILDBIRTH ON CUCUMBER LAND

There was distress on Cucumber Land, a distant lonely islet in the Arctic Ocean. In vain would you look for it by that name on the map. That tiny speck has a perfectly well-sounding and even poetical name on the map. But polar wireless operators obstinately call it Cucumber Land. Just try to talk them out of it! That's the kind of chaps wireless operators are. They like a joke. Perhaps they get bored in their cabins.

This strange name has its history, however. The island was discovered recently, quite recently, and the expedition leader, making a dashing survey of the newly discovered land (spurred on by the ice relentlessly closing in on the icebreaker) made out on the spot a report in which he wrote: "The newly discovered land has the shape of a cucumber." And the radio operators—everything inevitably goes through their hands—christened that new member of the Arctic island family Cucumber Land.

The islet soon assumed considerable importance because it was so far away. Research workers rubbed their hands: now they would probe into many of the Arctic Ocean's secrets. Weathermen sighed with relief: they now had another cauldron in their weather-kitchen. Young polar explorers dreamed of Cucumber Land as of a bride. They dreamed of her untold beauty and there were no feats they would not undertake if only they could win her. They would say with a note of condescension: "What are Dickson, Tiksi, Chelyuskin? They've already been explored. They're just like home. But there...." And they would add in an excited whisper: "This is no joke. The seventy-eighth parallel...."

So the cucumber-shaped land became inhabited. On its virgin snow beside the large cup-shaped footprints of the bear appeared the pointed resolute footprints of man. Buildings arose. Life was born on the ice-hummocks. People already had their routine, they made coffee in polished copper

ни, и кипел кофе в медном начищенном кофейнике, и свой радости, и вечерние часы за шахматной доской, и свой заботы, волнения... И вот было уже и свое несчастье. Или скорее — счастье. Ну да, счастье! Впрочем, ничего еще не было известно, — как обернется. Дело в том, что женщина кричала страшным, нечеловеческим криком, а бледный толстый мужчина стоял над ней, и его руки беспомощно тряслись, а по лбу катились тяжелые круглые капли пота.

Тот очень ошибается, кто думает, что в Советской Арктике на далёких островах люди живут уединённо, ничего не зная о своём ближайшем соседе. Правда, от соседа к соседу, от острова до острова, подчас тысячи километров — и каких километров! Но — радисты! И благодаря им вся Арктика знала, что на далёкой Огуречной Земле женщина в муках рождает нового гражданина. И вся Арктика, затаив дыхание, следила за исходом этих родов, словно все они, эти хмурые, мужественные люди, горняки Нордвика,* учёные Челюскина, радисты Диксона, строители порта Тикси, зимовщики Белого,* стояли, стараясь не кашлянуть, не шелохнуться, у кровати роженицы и ждали появления на свет ребёнка, чтобы услышать его первый требовательный крик и ласково, отечески ему улыбнуться.

— Ну, как? Ну, как? — спрашивали и утром, и в полдень, и вечером со всех зимовок.

Но женщина кричала, и казалось, её стоны слышны во всей Арктике, муж её, беспомощный, как и все мужчины в таких случаях, только плакал над ней, а доктор ничего не мог сделать, суетился и нервничал. Бедняга, он не был акушёром, а случай выдался исключительный — поперечное положение плода.

С Огуречной Земли в этот день на радиоузел приняли отчаянную радиограмму.

«Спасите! Спасите! — радировал муж роженицы. — Сделайте, что можно тчк * Спасите мать зпт * ребёнка».

Что можно было сделать? Радист, принявший радиограмму, страдальчески сморщился, снял наушники и пошёл к начальнику. Что можно сделать? Ведь женщина... Ведь ребёнок...

Начальник и партбг* задумались. Как помочь роженице? Лететь туда не на чем. На зимовке — ни одного

coffee-pots, they had their joys, their games of chess in the evening, their worries and excitements.... And now they were in distress. Or was it not rather a blessing? Yes, it was a blessing. However, it was still not sure how it would turn out. The fact was that a woman was screaming in a dreadful inhuman way, while a pale fat man was standing over her, his hands shaking helplessly and heavy drops of sweat rolling down his forehead.

Anyone who thinks that people in the Soviet Arctic region live isolated on the distant islands knowing nothing of their nearest neighbour is mistaken. It's true that from one neighbour or from one island to another there are sometimes thousands of kilometres, and what kilometres! But then, there are wireless operators. Thanks to them the whole of the polar region knew that on distant Cucumber Land a woman was in labour giving birth to a new citizen. And the whole of the Arctic waited with bated breath for the outcome of this childbirth as though all those grim, fearless people, Nordvic miners, Chelyuskin scientists, Dickson wireless operators, Tiksi port builders and Bely Island winterers stood by the bed of the woman in travail, trying not to cough or to move, and waited for the child's appearance, to hear its first exacting cry and to smile on it fondly and paternally.

"Well, how is she?" came inquiries, morning, noon and night, from all the winter stations.

But the woman was screaming and it seemed that her screams could be heard throughout the Arctic. Her husband, helpless as all husbands are in such cases, only wept over her, and the doctor could do nothing but fuss about nervously. Poor fellow, he was not an obstetrician and the case turned out to be an unusual one: a crosswise position of the foetus.

That day a desperate message from Cucumber Land was received at the radio centre.

"Help! Help!" the husband of the woman in travail radioed. "Do everything possible to save mother and child."

What could be done? The operator who took the message grimaced in pain, took off his earphones and went to his chief. What could be done? A woman, you know... and a child.

The chief and the Party Secretary began to think hard. How could they help the woman? There was no means of

самолёта. Зимá. Полярная ночь. Рáзве долетишь? Пар-
то́рг нахму́рился и пошёл в больни́цу к до́ктору.

До́ктора зва́ли Серге́ем Матве́ичем.* Что сказа́ть о нём? То был обыкнове́нный врач, из тех, кото́рых ничём уже не удивишь, не расстро́ишь и не испуга́ешь. И внешность у Серге́я Матве́ича была́ обыкнове́ннейшая: брюш-
ко́ в ме́ру, ру́ки кра́сные, большо́е, настоя́щие ру́ки рез-
ника́*-хиру́рга; го́лос жи́рный, благоду́шный; лы́синка благообразная, покры́тая ре́денькой прядью; очки́ рого-
вые чёрные; оде́жда, ру́ки — всё па́хнет карбо́лкой, ле-
ка́рствами, больни́цей, — одним сло́вом, партикуля́рная внешность врача́. Так что, когда́ встрети́шь Серге́я Мат-
ве́ича в каю́т-компáнии в фо́рменной тужу́рке с якоря́ми, небольшо́но подума́ешь: «Отче́го он не в хала́те?»

Одно́ было́ необыкнове́нно в до́кторе: уж́ о́чень он был... обыкнове́нен для аркти́ческого врача́. Все́-таки аркти́ческий врач — э́то, как хоте́те, фигу́ра романти́-
ческая. Взгляните́ на ка́рту. Среди́ и́мен полярных ис-
сле́дователей, па́мять о кото́рых нам хранит́ красноре-
чи́вая ка́рта, найдёте́ вы и́мена́ врачей: о́стров до́ктора Старока́домского, мыс до́ктора Исаче́нко. На Ди́ксоне вам пока́жут моги́лу фе́льдшера Влади́мирова, скром-
ного се́верного геро́я, и вы с почтёнием поклóнитесь зна́ку на моги́ле из се́рого плавника́. На о́строве Вран-
геля́ вы уже́ са́ми пе́рвым де́лом ста́нете иска́ть моги́лу до́ктора Ву́льфсона, геро́я, самоотве́рженно поги́бшего в борьбе́ с враго́м наро́да, проникши́м в Арктику́.

Но в Серге́е Матве́иче до оби́ды не́ было́ ничего́ романти́ческого. Обыкнове́нный проза́йский врач. Не́ был он похо́ж и на бра́вых корабельных врачей, приви́кших ко льдам, што́рмам, кача́ющейся па́лубе, консерв-
ному пайку́ и к запа́ху океа́нской со́ли. Но, мо́жет быть, он был врач-иссле́дователь, врач-уче́нный?

В послéднее вре́мя в Арктику́ охóтно е́дут уче́ные-
ме́дики. Они́ и биоло́ги, и зооло́ги немно́го, и бота́ники. Одни́ собира́ют рачко́в, любопы́тных земноводных, яще-
риц и увозят э́ти трофе́и в спиртú на материк; други́е распла́тывают на листе́ герба́рия ка́рликовую и́ву, кото́рая вся — с корня́ми и «кро́ной» — умеща́ется на ла-
до́ни; тре́тьи изуча́ют заболева́ния в усло́виях Арктики́,

flying there. There wasn't a single plane at the winter station. It was winter, the polar night. Could one get there by plane anyhow? The Party Secretary frowned and went to see the doctor at the hospital.

The doctor's name was Sergei Matveich. What can be said about him? He was an ordinary doctor, one of those that nothing could surprise, worry or frighten any longer. His appearance too was ordinary: a moderate paunch, the large, red hands of a real surgeon, a thick kind voice, a noble bald pate with a thin mesh brushed over it, horn-rimmed dark spectacles, clothes, hands and everything smelling of carbolic, medicine and hospital, briefly the typical appearance of a doctor. So that when one met Sergei Matveich in the mess wearing a uniform jacket with anchors on, one could not help wondering: "Why isn't he in his doctor's white coat?"

One thing about the doctor was unusual: he was really too ordinary for a polar doctor. After all, think what you like, an Arctic doctor is a romantic figure. Look at the map. Among the names of polar explorers whose memory it eloquently preserves for us you will find names of doctors: Doctor Starokadomsky Island and Doctor Isachenko Cape. On Dickson you will be shown the tomb of Assistant Doctor Vladimirov, a modest hero of the North, and you will bow in respect before the grey driftwood memorial on his grave. On Wrangel Island you yourself will at once look for the grave of Doctor Vulfson, a hero who sacrificed his life fighting an enemy of the country who had penetrated into the Arctic region.

But Sergei Matveich was hopelessly unromantic. An ordinary matter-of-fact doctor. He wasn't even like those gallant ships' doctors, inured to ice, storms, pitching decks, tinned rations and the briny smell of the ocean. But perhaps he was a research doctor, a scientist?

In recent times medical scientists have been quite willing to go to the Arctic. They are biologists, zoologists to some extent, and botanists. They collect shellfish, curious amphibians and lizards and take these trophies away in methylated spirits to the mainland; others flatten out between the leaves of their herbarium dwarf willows which fit, root and crown, in the palm of the hand; others again study illnesses in

поведение людей, психику, возможности инфекции, влияние полярной ночи и полярного дня на человека...

Но Сергей Матвеевич не заспиртовывал рачков, не закусывал лишайников и, кажется, даже не записывал в дневник «любопытные фактики из врачебной практики». Он, впрочем, кое-что попробовал было сделать, да времени... времени не было. Больные. Заботы. Больница. По всему было видно, что его зимовка не обогатит науку новыми открытиями.

Ещё на корабле* молодой магнитолог Модоров, один из тех бескорыстных энтузиастов науки, которые особенно ярко раскрываются именно на зимовках, подошёл к врачу и, весело улыбаясь, сказал ему:

— А я понимаю вас. И ваш взгляд на всех нас, зимовщиков, понимаю. Вы ведь на нас смотрите, как на кроликов.* Будете изучать нас, так ведь? Щупать пульс до и после аврала, слушать сердце во время полярной ночи и после неё. И потом напишете, конечно, научную работу? Так? Ну, так, что ли? Я рад, доктор, служить вам кроликом.

Сергей Матвеевич испуганно посмотрел на него, смутился и ответил, что да, конечно, он кое-что этакое* затеял, но при этом он так неопределённо щёлкнул пальцами, что и Модоров и все остальные «кролики» больше не спрашивали Сергея Матвеевича о научной работе. Было похоже на то, что он приехал сюда с единственной целью: лечить людей, буде* они заболели, принимать у рожениц ребят, рвать зубы и вырезать аппендициты.

Для всего этого ему нужна была больница, ибо врач без больницы — «это, батенька,* Колумб без корабля». И больница ему была нужна не какая-нибудь, а вполне благоустроенная, потому что Арктика там* или не Арктика, а если человек заболел, то надо, чтобы лечили его по-настоящему. Поэтому он сам при разгрузке баржи таскал на своей спине ящики с оборудованием и, если ему помогали, сердито кричал:

— Осторожно, осторожно! Не разбейте!

Он сам и строгал и пилил, мастерил какие-то палочки, суетился около плотников, сам выкрасил белой масляной краской стены, покрыл линолеумом пол. Людям было мало, а дел у всех много. Строился радиоцентр,

Arctic conditions, people's behaviour and psychic reactions, the possibilities of infection, the influence of the polar night and day on man....

But Sergei Matveich did not preserve shellfish in spirits, dry lichens or even, it appears, note in his diary any "curious little facts of medical practice." He had, indeed, intended to do something of the sort, but ... he had no time. There were his patients, his troubles, his hospital. Quite obviously his winter in the Arctic would not enrich science with any new discoveries.

On the boat coming out, the magnetologist Modorov, one of those disinterested enthusiasts of science who, especially in the Arctic, are revealed in clear relief, came up to the doctor one day with a cheerful smile and said:

"I for one understand you. Your attitude to us winterers, too. You consider us as guinea-pigs, of course. You will study us, won't you? Take our pulse before and after an emergency, listen to our heart during and after the polar night. And then, of course, you will write a scientific paper. Isn't that so? It is, isn't it? I am glad, doctor, to be your guinea-pig."

Sergei Matveich gave him a frightened look, became embarrassed and answered that of course he had some intention of the sort, but in saying this he showed so much uncertainty that Modorov and the other "guinea-pigs" never questioned him again about his scientific work. It was as though he had come with the one and only aim of curing people if they took ill, delivering women in travail, extracting teeth and removing appendices.

For all this he needed a hospital, for a doctor without a hospital was "like Columbus without a ship, old man," and it was not any kind of hospital he needed, but a perfectly equipped one, because Arctic or no Arctic, when a man was ill he had to be treated properly. That was why he himself carried cases of equipment on his back when the lighter was unloaded and shouted angrily at anybody who offered to help him:

"Careful, careful! Don't break anything!"

He himself used plane and saw, made little sticks and fussed about near the carpenters, painted the walls white and covered the floor with linoleum. There were not many people and they all had plenty to do. A wireless station

гремели взрывы в порту: строилась угольная база. То был тысяча девятьсот тридцать четвёртый год — исторический для Арктики, когда, словно по волшебству, возникли на пустынных берегах Ледовитого океана среди диабазовых скал здания, порты, мастерские, шахты.

Возникла и больница. Она была маленькая, на пять коек, но этого было вполне достаточно. И всё в ней было, как в настоящих больницах, в которых поседёл, полысёл и пропитался запахом йода и карболки Сергей Матвееч. Так же поблёскивали маслом белые стены, так же играло солнце на никеле инструментария, на склянках с этикетками в стеклянном шкафу. И чистота. И тишина. И запах карболки. Появились и больные. Всё больше женщины. Из отдалённых промысловых избушек, за сотни километров, на собаках приезжали они сюда загодя,* за месяц, за два до «срока», и жили на зимовке. Приезжали и мужчины — с грижей, с аппендицитом, с отмороженными пальцами, с увечьями, с больными зубами. Он лечил и зубы и даже пломбировал их; и многие, не успевшие на материке починить свои зубы, сделали это у Сергея Матвееча. Но чаще всего он говорил:

— Эх, батенька? Ну к чему вам этот дрянной зуб? Давайте-ка мы его... того*...

А перед тем как выдернуть зуб, он выдавал больному для храбрости тридцать граммов спирта. Это было традицией. Но потом Сергей Матвееч заметил, что его стали обманывать. Спирт выпьют,* а зуб рвать не дадут. «Знаете, говорят, доктор, а зубу-то легче стало. Давайте-ка в следующий раз». С тех пор он стал выдавать спирт только после операции.

Как хирург по профессии и по складу души, он всегда предпочитал хирургические меры и даже, как смеялись на зимовке, оживлялся, если предстояло кого-нибудь «порезать».

— Мы, батенька, вас сейчас почищаем* немного, и легче вам будет. Ну вот! Вот и отчикали. Вот ваша болячка.

К внутренним же болезням он относился подозрительно.

— Это там всякая терапия, паньска хвороба.* К чему вам этим болеть, батенька? Этакая дрянь!* — И уте-

was being built and explosions thundered in the harbour, where a coal dump was being built. That was in 1934, a historic year for the Arctic, when buildings, ports, workshops and pits were appearing as by magic on the diabase cliffs of the desolate Arctic shores.

A hospital was built too. It was small, only five beds, but that was quite enough. It had everything, just like the real hospitals in which Sergei Matveich had grown grey and bald and become permeated with the smell of iodine and carbolic. The white walls had the same oily sheen, the sunrays played on the nickel instruments and the labelled phials in the glazed cupboard. It was clean, it was quiet, and it smelt of carbolic. And patients came too, women, most of them. From the far-off trappers' huts they came hundreds of kilometres on dog-sleighs, well in advance, a month or two before their time, and lived on the winter station. Men came too, with ruptures, appendicitis, frostbitten fingers, injuries, toothache. He treated toothache and even filled teeth, and many who had no time to see to their teeth on the mainland came to Sergei Matveich. But most often he would say:

“Well, old chap, what's the use of that rotten tooth? Let's ... well, you know....”

Before extracting a tooth he would give the patient thirty grammes of spirits for courage. That was a tradition. But then Sergei Matveich noticed that they got into the habit of cheating. They would drink the spirits and then not have the tooth out. “You know, doctor,” they would say, “it's better now. Let's wait till next time.” After that he would give them spirits only after the extraction.

Being a surgeon by profession and by disposition, he always preferred surgical measures. He even livened up, as they noted with mirth on the winter station, when he had a chance of “using the knife.”

“Just a little snip here, old chap, and you'll feel better,” he would say. “Well, we've nipped that off. That's your trouble gone.”

Internal diseases he regarded with suspicion.

“All those therapeutics and the like are complaints for the rich. What use are such complaints to you, old chap?”

шал: — Предоставьте это природе... Природа — она мудрее. Всё рассосётся... Климат здесь чудесный... Здоровый климат-с!*

И было уж так заведено, что каждый день во время обеда кто-нибудь громко через стол говорил:

— Доктор, у меня что-то голова сегодня болит. Рассосётся?

— Рассосётся, батенька, рассосётся, — убеждённо отвечал он.

Таков был Сергей Матвевич, наш обыкновеннейший доктор. И если было в нём что-либо непонятное, то только — зачем он поехал в Арктику?

Собственно Арктики он так и не видел. Больница, кают-компания, квартиры зимовщиков, больница... Собирался было на охоту сходить,* да не собрался. Думал было промысловые избушки объехать, да не на кого было больницу оставить — все роды (удивительно много стали рождать в Арктике), и по промыслам поехал фельдшер. Один раз только, осенью, во время хода белухи, увязался доктор с молодёжью на промысел, но только мешал всем, промок, чуть было сеть не упустил и, мокрый, но очень довольный, вылез на берег. Зато, когда белухи были уже на берегу, он, окружённый чуть ли не всем населением зимовки, стал ножом разделять морского зверя. («Смотреть, нет ли у белухи аппендицита», — смеялась молодёжь.) Опытной рукой он вскрывал внутренности и показывал собравшимся лёгкие зверя, желудок: «Все, знаете, батенька, довольно похоже на человеческие органы».

Однажды, после вечернего кофе, когда в кают-компании было как-то по-особенному тепло и уютно, магнитолог Модоров подсел к доктору:

— Вы не обидитесь, Сергей Матвевич? Скажите: зачем вы поехали в Арктику?

Сергей Матвевич смутился и развёл руками.

— Как вам сказать, батенька, — пробормотал он. — Кругом говорят: Арктика, Арктика... Думаю: дай-ка и я. Ведь не стар. Как находите: ведь не стар ещё? — Он молодцевато покрутил усы. — Потом в больнице у нас, знаете, врач появился. Только что с Севера. Восторженный этаким. Большое поле, говорят. Интересные случаи...

Absolute trash!" Then to console his patient he would say: "Leave it to nature.... Nature knows better. It will be resorbed.... The climate here is wonderful.... A healthy climate, indeed."

It became a standing joke for someone to call across the table to him at dinner:

"Doctor, I've got a headache. Will it be resorbed?"

"Of course, old man, of course it will," he would reply with conviction.

Such was our Sergei Matveich, our quite ordinary doctor. If there was anything about him one could not understand it was why he came to the Arctic.

The Arctic as such he never saw, however. The hospital, the mess, the winterers' homes, the hospital, that was his life. He would plan to go hunting, but would not get round to it. He thought of touring the trappers' huts, but there was nobody to leave in charge of the hospital and there were births all the time (surprising, the number of births in the Arctic) so his assistant toured the trapping stations. Once only, in autumn, during the white whale season, did the doctor join the young men at the whaling, but he only disturbed everybody, got soaked through, nearly lost the net and, wet but satisfied, went ashore. But when the whales had been hauled on to the beach, surrounded by nearly the whole population he set to work cutting up one of them with his knife. ("To see if it's got appendicitis," the young people joked.) With a skilled hand he laid bare the beast's inside and showed the crowd its lungs and stomach. "All very much like human organs, you know."

Once after evening coffee, when it was particularly warm and cosy in the mess, the magnetologist came and sat by the doctor.

"Don't be offended, Sergei Matveich, but why did you come to the Arctic?"

Sergei Matveich made a gesture of embarrassment.

"How shall I put it, old chap," he mumbled. "All round me they were talking of the Arctic.... I thought: why shouldn't I go too? I'm not old. What do you think: I'm not, am I?" He twirled his moustache dashingly. "Then a new doctor came to our hospital. Just back from the north. So enthusiastic. A vast field of activity, he said. Interesting

Отчего же не послужить? Я и на фронте был... Всяко* бывало... И потом... — Он поднял на собеседника свои честные голубоватые глаза и прибавил просто: — И потом — материальные условия* очень хорошие. Два года прозимую — ведь это, бабенька, капитал. Домик мыслю* себе купить под Москвой. Знаете, этак* садик... гамачок... клумбы... Обожаю настурции. И ещё — ночную фиалку под окном.

После этой беседы доктор показался всем ещё более скучным и прозаичным.

Но какой бы он ни был будничным и прозаичным, вот такой, каков он есть, — с большими красными руками, с брюшком под халатом, с запахом карболки и йода, — он был всё-таки единственным человеком на зимовке, который мог бы помочь женщине, рожавшей на Огуречной Земле, хотя и не было ясно, как он сможет это сделать.

Парторг зимовки, дядя Вася, пришёл к доктору в больницу и уединился с ним в кабинете.

— Надо помочь, — сказал он, поднимая на доктора усталые глаза.

— Позвольте, позвольте, бабенька! — удивился Сергей Матвеевич. — Вы говорите, помочь. Давайте-ка сюда вашу больную. Пожалуйста. Но ведь не могу же я принимать роды, которые, извините... находятся... э-э-э... где-то в пространстве.

— Но надо помочь, доктор, — настойчиво повторил парторг.

— Нет. Это чудесно, право! — рассмеялся доктор и даже всплеснул руками. — Дайте мне руки длиной в тысячу километров, чтобы я мог протянуть их... э... к ложу* больной. Дайте мне, бабенька, глаза-телескопы... э... э... чтоб увидеть за тысячи километров, и я готов-с, готов.

— Мы вам дадим такие руки и такие глаза, доктор, — сказал парторг. — И тогда...

— Я вас не понимаю, бабенька... Какие руки? Какие глаза?

— Радио. Вам будут говорить о состоянии больной и, как это, о положении плода, а вы будете руководить.

cases. Why not do my bit? I was at the front.... Saw all sorts.... And then...." He raised his honest blue eyes to his listener and added simply: "And then, the money side is very good. Spend two winters here, old chap, and you have quite a capital. I'm thinking of buying a house near Moscow. You know, a garden ... a hammock ... flower beds.... I'm very fond of nasturtiums. And wild orchids under the window too."

After that conversation everybody thought the doctor still more boring and humdrum.

But however humdrum and prosaic, this man, just as he was, with his big red hands, the paunch under his white coat, the smell of iodine and carbolic, was nevertheless the only one at the winter station who could help the woman giving birth on Cucumber Land. Though it was not quite clear how he could do so.

Uncle Vasya, the winter station's Party Secretary, came to the doctor in the hospital and remained closeted with him in his office.

"We must help," he said, raising his tired eyes to the doctor.

"Really, really, old chap," Sergei Matveich replied amazed. "Help, you say. Bring your patient then. By all means. But I can't deliver a woman who is, if I may say so ... somewhere in space."

"But we must help, doctor," the Party Secretary insisted.

"Oh, that's wonderful, really!" the doctor laughed and flung up his hands. "Give me arms a thousand kilometres long so that I can reach the ... sick-bed with them. Give me telescopic eyes, old chap, er ... er ... so that I can see thousands of kilometres away and I'm ready. Yes, indeed."

"We shall give you such arms and such eyes, doctor," the Party Secretary said. "And then...."

"I don't understand you, old man.... What arms? What eyes?"

"Wireless. You'll be told the woman's condition and the... what d'you call it, the position of the foetus and you will give directions."

Опéшивший Сергей Матвéич дóлго и мóлча смотрéл на партóрга.

— Вы как это... серьёзно?! — наконец осведомился он шёпотом.

— Вполнé. Инóго вýхода нет.

Сергей Матвéич встал, надéл халáт и решительно направи́лся к двéри.

— Идёмте к больно́й, — сказа́л он. Потóм остано́вился. — Впрóчем, зачём же халáт? Ну, всё равно́. Экие * стрáнные вéщи на свéте. Пёрвый слýчай в моéй прáктике... э... забóчные рóды*... Рóды по рáдио. Представлю́, как удивя́тся мо́й коллéги... Ну, всё равно́. Идёмте.

Огурéчная Земля́ была́ вýзвана к аппара́ту. Диспéтчер объявил́ всем полярным стáнциям: «Ввиду́ тогó, что радиоузел бýдет всё врёмя рабóтать с Огурéчной Землёй, связь с остальными́ стáнциями временно́ прекращáется до... до исхóда рóдов».

Все зáмерли. Тíхо стáло в эфире. Затаи́в дыха́ние, следила́ Арктика за рóдами на далéкой Огурéчной Земле́. Сергей Матвéич подошёл к аппара́ту.

— Ну-с,* — произнёс он, заложи́в рýки за по́яс халáта, и растеря́лся.

Он чу́ть было не спроси́л * по привычке: «Ну-с, как вы себя́ чу́вствуете, больна́я?» — но вспомнил, что собственно́ никако́й больно́й пéред ним нет. Пустота́. Эфир. Не́которым óбразом... э... простра́нство.

Он был я́вно не в своéй тарéлке. Не́ было привы́чной рабóчей обстано́вки, той, кото́рая давала́ ему́ необходи́мое споко́йствие. Он дóлжен был ви́деть рожéницу, слы́шать её сто́ны, мо́льбы, привы́чно сочу́вствовать её му́кам, ви́деть кровь в тазу́, ошúпывать сво́ими рука́ми плод — это́ ма́ленькое, ско́льзкое, беспóмощное тельце́.

Ниче́го это́го не́ было сейча́с. И он чу́ствовал себя́, как ста́рый солда́т, кото́рый споко́ен под пу́лями, но пу́гается зловéшей, недóброй тишины́ заса́ды; как ме́льник, кото́рый мо́жет мирно дрема́ть под шум жерно́в и просы́пается от тишины́.

Здесь, на радиостáнции, он был как белúха на берегу́. Рóвным свéтом горéли ла́мпы. Потрёскивало́ чтó-то в

Completely taken aback, Sergei Matveich stared speechless at the Party Secretary.

“Do you mean the ... seriously? he inquired at last in a whisper.

“Yes, I do. There’s no other way out.”

Sergei Matveich rose, put on his white coat and walked resolutely towards the door.

“Let’s go to the patient,” he said. Then he stopped. “Why the coat, though? Oh well, it doesn’t matter. Such strange things happen in the world. It’s my first case of ... er ... childbirth at a distance. Childbirth by radio. I can imagine my colleagues’ astonishment.... Well, it doesn’t matter. Let’s go.”

Cucumber Land was called on the radio. The operator informed all polar stations: “In view of the fact that the wireless network will be in contact with Cucumber Land all the time, communications with other stations will be suspended until ... the outcome of the delivery.”

Everybody was tense with expectation. The atmosphere became silent. With bated breath the Arctic followed the childbirth on distant Cucumber Land. Sergei Matveich went up to the set.

“Well then,” he said, inserting his hands in the belt of his white coat. Then he stopped in embarrassment.

He was almost going to ask, according to his habit: “Well, how do you feel?” But he remembered that actually there was no patient in front of him. Only emptiness, air. Space, so to speak.

He was obviously ill at ease. This was not the atmosphere he was used to working in and which gave him the requisite calm. He had to see the woman, to hear her groans, her entreaties, to sympathize as usual with her sufferings, to see the blood in the basin, to feel the foetus, that tiny slippery helpless body.

Now there was none of all that. He felt like an old soldier, who is calm under bullet fire but fears the ominous unwholesome silence of an ambush; like a miller, who can drowse peacefully in the noise of the grindstones but awakens if they become silent.

Here at the radio station he was like a white whale on the beach. The lamps burnt with a steady light. There was

репродукторе. И тишина. И ни больно́й, ни сто́нов, ни мук.

Ни мук? Но она́ му́чится там... в пространстве. Очень му́чится... и ждёт по́мощи. И все вокру́г ждут. Что же, до́ктор, Серге́й Матве́ич, ну-ка?

Он наклонился к радíсту и сказа́л:

— Э... ба́тенька... спросите до́ктора: а в како́м положéнии сейча́с плод?

И с любопы́тством посмотре́л, как его́ слова́, сло́вно горо́х, рассу́пались то́чками и тире́ и понеслись в э́фир. Че́рез не́сколько мину́т был уже́ и отве́т.

Серге́й Матве́ич проче́л его́ и сморщил лоб. Так нача́лась э́та необыкновенна́я «забо́чная консульта́ция».

— Плод в попере́чном положéнии, — размышля́л вслух до́ктор. — Да-да... Слу́чай! Спросите-ка у моего́ колле́ги, — обрати́лся он к радíсту, — зна́ет ли он, хоть понаслы́шке, поворо́т плода́ по ме́тоду Бра́кстон-Хи́гстона.

«Э, да отку́да ему́ зна́ть? Молодо́й челове́к. И терапе́вт к тому́ же», — размышля́л он сам с собо́й.

Терапе́вт! Как все хиру́рги, он относился́ к ним с лёгким недовере́нием.

Отве́т пришёл, како́го и ждал Серге́й Матве́ич:

«Понаслы́шке зна́ю, но прошу́ во всём, без стесне́ния, руководи́ть мной».

— Вымойте ру́ки спи́ртом и йодо́м. Все па́льцы сма́жьте йодо́м. Мину́т де́сять мо́йте, ба́тенька, — продиктовáл до́ктор, и радíст, послу́шно и сло́вно священноде́йствуя, переда́л всё, и «ба́теньку» в том числé. Кто его́ зна́ет, мо́жет быть, и в э́том «ба́теньке» есть свой меди́цинский смысл?

До́ктор Огурéчной Земли́ почтительно́ сообщи́л, что ру́ки вымыты.

— Так! — удовле́творённо кивну́л голово́й до́ктор. — Тепе́рь асептика́ же́нщины. — Он подро́бно написа́л на бума́жке инстру́кцию и переда́л радíсту. И сно́ва, любопы́тствуя и удивля́ясь, смотре́л, как его́ слова́, мы́сли, те, что ещё́ мину́ту наза́д находи́лись * в одно́м его́ мозгу́, сейча́с чудодейственной си́лой перенóсятся за ты́сячу киломе́тров. И он впервые́ с уваже́нием посмотре́л на радíста.

Радíст, ощу́щая ва́жность момéнта, да́же напряжи́нил-

a crackling now and then in the loudspeaker. And silence. No patient, no groans, no suffering.

No suffering? But she was suffering there ... in space. Suffering terribly ... and awaiting help. And everybody was waiting: Well, doctor Sergei Matveich, what now?

He bent over to the operator and said:

"Ahem ... old chap, ask the doctor what is the position of the foetus now."

With curiosity he watched as his words, scattered like peas in dots and dashes, flew away into space. In a few minutes the answer was there.

Sergei Matveich read it and frowned. Thus began that unusual "remote-control" consultation.

"The foetus is in a crosswise position," the doctor mused aloud. "H'm, h'm. A difficult case. Ask my colleague," he said to the operator, "whether he knows, if only by hearsay, the Braxton-Hicks method of turning the foetus."

"How is he to know it? Just a young man. And a therapist at that!" he thought to himself.

A therapist. Like all surgeons, he was rather mistrustful of them.

The answer came, just the one he had expected.

"Have heard of it, but request you to give me all necessary directions without standing on ceremony."

"Wash your hands thoroughly in alcohol and iodine. Paint all your fingers with iodine. Wash them for about ten minutes, old chap," the doctor dictated, and the operator, as docile as one performing a sacred rite, transmitted everything, including "old chap." You never knew, perhaps even "old chap" had some special medical meaning.

The Cucumber Land doctor dutifully reported that he had washed his hands.

"Good!" the doctor nodded with satisfaction. "Now for the asepsis of the patient." He wrote detailed instructions on a sheet and gave it to the operator. And once more, with curiosity and wonder he watched his words, his thoughts, a minute ago still only in his brain, being transmitted by a miraculous power over a thousand kilometres. And for the first time he regarded the operator with respect.

The operator, sensing the importance of the occasion, was

ся весь и покраснел от натуги. Он отчётливо выстукивал каждую букву, боясь ошибиться. Принимая отчёт с Огуречной Земли, он записывал медленно, без той лихости телеграфиста, какой хвастался всегда. Он просил:

— Давай медленнее. Ведь тут букву изменишь, а ребёнку и роженице повредишь.*

— Ну-с, — сказал доктор, — теперь сделайте внутреннее исследование. Введите левую руку...

Вот он надвигается, решающий момент.

«Что, если шейка матки недостаточно открыта? — озабоченно думал доктор. — Ах, отчего я не там?! Ведь это что ж... Ведь не могу же я отвечать, батенька, за то, чего не вижу даже».

Ожидая ответа и непривычно волнуясь, он, чтобы успокоиться, отошёл к окну и стал глядеть на улицу. На улицу? Была ли здесь улица? Сугроб снега под окном. Дальше амбар, бухта, а ещё дальше — снег, снег, только снег. На крышах складов снег, на бухте снег, в тундре снег. Зеленоватый. Лунá.

«Ах, и далеконько* же ты забрался, Сергей Матвеевич!» — вдруг подумал он и удивился даже, что так далеко забрался, словно эта мысль впервые пришла к нему, словно он не второй год зимует, а только первый день.

— Сергей Матвеевич! — позвал его кто-то шепотом.

Он оглянулся. Перед ним стояли две женщины: жена радиста и жена геофизика.

— Голубчик,* Сергей Матвеевич, ну как? — волнуясь, спросила более смелая — жена радиста.

— Что — как? — рассердился доктор. — Вы у мужа спросите, Марья Ильинишна. Он вот у радио колдует. Он лучше меня знает. А я не вижу... ничего не вижу... Снег-с.

— Мы хотели только... — смутилась жена геофизика. — Видите, у меня подружка была. Так, знаете, она рожала, и такой же случай. Я все подробности знаю... может быть, вам пригодится? Я расскажу.

— Ох, голубушка! — поморщился доктор. — Вам-то что?* Не подружка же ваша рождает. Вы-то чего?*

all tense and red with the strain. He tapped out each letter precisely, anxious not to make a mistake. When he received the answer from Cucumber Land he wrote it down slowly, without the boastful dash typical of the telegraphist.

“A little slower,” he requested. “You know every letter is important here and can be harmful to the infant and the mother.”

“Well then,” said the doctor. “Now make an internal examination. Introduce the left hand....”

The decisive moment was now approaching.

“What if the cervix of the uterus has not opened enough,” the doctor thought anxiously. “Oh, why am I not there! This is.... How can I be held responsible, old chap, for what I can’t even see?”

Waiting for the answer in nervous anxiety he went over to the window to calm himself and looked out into the street. The street? Was there a street there? Snow heaped up under the window. Then the warehouse, the bay, and farther away, snow, snow, nothing but snow. Snow on the roof of the stores, snow in the bay, snow on the tundra. Greenish snow. And moonlight.

“A long way you’ve come, Sergei Matveich,” he suddenly thought and he was surprised, as though the thought had never occurred to him before, as though it were his first day, and not his second year at the winter station.

“Sergei Matveich!” somebody called in a whisper.

He looked round. Standing before him were two women, the operator’s wife and the geophysicist’s.

“Sergei Matveich, dear, how is she?” the operator’s wife, the braver of the two, asked worriedly.

“How is she? What do you mean?” the doctor said angrily. “Ask the husband, Mariya Ilyinishna. There he is reporting on the wireless. He knows better than I do. I can’t see—anything. Only snow.”

“We only wanted....” the geophysicist’s wife was confused. “You see I had a friend. She had a baby and it was the same type of case. I know all the details... perhaps it would be of use to you? I shall tell you.”

“Oh, very nice of you!” the doctor frowned. “What is it to you? It’s not your friend who’s having the baby. What are you bothering about?”

— Как — чего? — удивилась женщина. — Это даже обидно. Сергей Матвееч.

Но радист в это время подал ответ с Огуречной Земли. Хороший это ответ или плохой, он не знал. Он ничего не понимал в медицинских терминах, но уже заранее волновался, как будто знал, что ответ плохой.

— Ага! — прочёл доктор и улыбнулся. — Открытие два с половиной пальца. Ну что ж, голубушка? Будем делать поворот по методу Бракстон-Хигстона.

Он подошёл к аппарату. Ему торопливо подвинули стул. Все как-то сразу поняли, что наступил, наконец, решительный момент. Радист побледнел. Партбюро прохрипело: «Тихе», хотя и без того тихо, удивительно тихо было в комнате, где столпилось столько людей. Все замерли. Все с надеждой, с тревогой, с беспокойством глядели на доктора.

У него мелькнула мысль: «Откуда у меня такая смелость? И такая власть. Вот я сейчас скажу, и он там всё сделает... И, может быть, всё будет благополучно. И это я... я...»

Он произнёс:

— Введите два пальца правой руки и старайтесь поймать ножку ребёнка.

Застучал ключ, рассыпались в эфире точки, тире и больше уже не было у доктора посторонних мыслей. Он видел перед собой роженицу. Это он вводил два пальца. И слышал стоны. И почувствовал мягкость детской ножки, такой беспомощной, такой...

— Да не ошибитесь! — кричал он (радист послушно постукивал). — Не спутайте ножку с ручкой. Найдите пятку. Пяточку, батенька. И зафиксируйте. А то ещё за руку потянете... Это бывает...

На Огуречной Земле возле радиста также сгрудились в тревоге люди. Муж роженицы, потный, всклокоченный, бегал от аппарата к постели* больной и обратно. Он передавал доктору радиogramму, выслушав ответ, бежал обратно к аппарату, шепча про себя слова доктора, боясь забыть их и перепутать.

Доктор был взволнован, но поддержка Сергея Матвееча его ободряла. Он видел устремлённые на него налитые слезами и страданием глаза роженицы.

“What do you mean?” the woman asked in amazement. “That’s not nice of you, Sergei Matveich.”

Just then the radio operator gave the answer from Cucumber Land. Whether it was good or bad he didn’t know. He couldn’t understand medical terms, but he was worrying in advance as though he knew the answer was bad.

“Aha!” The doctor smiled as he read. “So the opening is two and a half fingers. Well, then, my dear, we’ll do the turn by the Braxton-Hicks method.”

He went up to the transmitter. A chair was hastily pushed forward for him. Everybody somehow understood that the decisive moment had at last arrived. The operator turned pale. The Party Secretary said hoarsely, “Hush,” although the room was already quiet, amazingly quiet for all the people crowded there. Everybody was tense. Everybody was looking at the doctor with hope, alarm and anxiety.

A thought flashed through his mind. “Where do I get this courage from? And this authority? Here I shall speak and there he shall do everything.... And perhaps everything will be all right. And it’s me ... me....”

He said:

“Insert two fingers of the right hand and try to seize the infant’s foot.”

The transmitter tapped away; dots and dashes scattered in the atmosphere and all other thoughts left the doctor’s mind. He saw before him the woman in childbirth. It was he who inserted two fingers, heard the groans, felt the soft flesh of the infant’s foot, so helpless, so....

“Mind you’re not mistaken,” he shouted (the operator tapped away obediently). “Don’t take the hand for the foot. Find the heel, the heel, old chap. Make sure of it. Or else you might seize the hand.... It’s a thing that happens....”

On Cucumber Land people also crowded anxiously round the radio operator. The woman’s husband, bathed in sweat, dishevelled, kept running from the radio to the sick-bed and back. He passed the wireless messages on to the doctor, listened to the answers, ran back to the transmitter whispering the doctor’s words to himself for fear of forgetting them or getting them confused.

The doctor was worried, but Sergei Matveich’s support encouraged him. He saw the woman’s eyes, drowned in tears and suffering, fixed on him.

— Ничего, ничего, — бормотал он. — Мы с Сергеем Матвеевичем* поможем вам... Ничего... Вот и пятка... Какая нежная...

«Захватил ножку», — пришла радиogramма Сергею Матвеевичу.

— Ага, — произнес он. — Захватил ножку. Молодец.

И по комнате прошелестело приглушённое, радостное: «Захватил ножку. Захватил ножку». Все задвигались, заулыбались, готовы были поздравлять друг друга. Но лицо Сергея Матвеевича уже снова было хмурым, и все стихли.

— Так, — произнес он. — Теперь поворачивайте за ножку, а наружной рукой...

Он забыл уже о пространстве. Он словно стоял у постели роженицы и отрывисто бросал указания ассистенту.

«А он молодец, молодец! — думал он при этом об ассистенте. — Хоть и терапевт, а прямо хоть куда. Молодец». И в нём уже росла уверенность, что всё будет благополучно. И ему уже казалось, что он и раньше был уверен в полном успехе. Это пришло, наконец, рабочее спокойствие. Он снова был в привычной обстановке.

Проходили минуты, казавшиеся всем вечностью. Уже час сидел Сергей Матвеевич у аппарата.

«Всё ли я предусмотрел? Каких ждать сюрпризов? Справится ли терапевт? Ах, отчего я не там! Всё ли я спросил?»

Он устремил взгляд на репродуктор, словно от него мог услышать ответ. И слышал: точки, тире, точки, тире... китайская грамота.* Он заглянул через плечо радиста на бланк.

— По-во-рот, — читал он, следя за каракулями,* — произ-ведён бла-го-по-по...

— Благополучно! — закричал, не выдержав, радист.

— Благополучно, благополучно, — всполошились все в комнате. — Доктор! Сергей Матвеевич! Голубчик!

— Следите за сердцебиением ребёнка! — закричал доктор сердито.

Это он на себя рассердился за то, что сам обрадовался радиogramме, как студент-первокурсник, как куратор на первой операции.

“It’s all right, it’s all right,” he murmured. “Sergei Matveich and I will help you.... Don’t worry.... There’s the heel. How delicate....”

“Got the foot,” came the wireless message to Sergei Matveich.

“Aha!” he said. “He’s gripped the foot. Good chap!”

A muffled murmur of joy rustled through the room: “He’s got the foot.” Everybody stirred and smiled, ready to congratulate one another. But Sergei Matveich’s face was again clouded and everybody became hushed.

“Good,” he said. “Now turn it by the foot and with your hand from outside....”

He had already forgotten about the distance. It was as though he stood by the woman’s bedside and rapped out instructions to his assistant.

“But he’s splendid, splendid,” he thought meanwhile of that assistant. “He may be a therapist but he’s certainly worth his salt. A splendid fellow.” And the assurance grew in him that everything would be all right. It even seemed to him that he had been sure of success all along. At last professional calm had come. He was back in his usual atmosphere.

Minutes passed that seemed eternity. An hour already Sergei Matveich had been sitting at the transmitter.

“Have I foreseen everything? What surprises must we be prepared for? Will the therapist cope? Oh, why am I not there? Did I ask him everything?”

His gaze was rooted on the loudspeaker as if he might hear the answer from it. And he heard: dots, dashes, dots, dashes.... It was Greek to him. He looked over the operator’s shoulder at the message form.

“Turn,” he read, following the pencil, “made safely....”

“Safely!” cried the operator, unable to contain himself.

“Safely, safely,” a wave of excitement passed over all in the room. “Doctor, Sergei Matveich. Well done, well done!”

“Watch the child’s heartbeat!” the doctor shouted angrily.

It was himself he was angry with for rejoicing about the message like a first-year student or an orderly at his first operation.

«Сты́дно! Сты́дно-с, врач! Срам-с!»

— Следите за сердцебиением ребёнка! — крикнул он опять радисту, и тот, спохватившись, начал послушно выстукивать.

— Ещё не родила. Да-с. Рано, батенька, рано, — произнёс Сергей Матвеевич укоризненно, обращаясь ко всем. И снова в комнате воцарилась тишина. — Рано, — пробормотал он уже тише и уставился в репродуктор.

И вдруг он почувствовал, что страшно, до боли, до нейштовства, желает, чтобы ребёнок родился живым. Живым, живым — и мальчиком! Кудрявым этаким *... Он мечтал о нём, как будто был его отцом... Женщина спасена, но ребёнок, ребёнок...

— Следите за сердцебиением. Внимательно следите за сердцебиением!

— Сердцебиение отчётливое, ясное, — услышал он слова радиста.

Нет, нет, не слова радиста. Это он услышал биение сердца ребёнка, ещё находившегося в утробе матери. Это билось сердце человека, ещё не появившегося на свет. Но человек сейчас появится и ликующе закричит, утверждая свой прав. Какое у него будет сердце! Сердце человека, самую жизнью своей обязанного родине, — вот этим радистам, этому партбургу с трубкой, этому доктору-терапевту (а он молодец, молодец!) и... и... да и ему, Сергею Матвеевичу. И он засмеялся. Засмеялся так, как никогда ещё не смеялся. И не торжество, не гордость, не удовлетворение были в его смехе. Было что-то такое, чего он и сам ещё не понимал.

Начались схватки. С Огуречной Земли теперь летели радиограммы за радиограммой. Доктор кратко сообщал о состоянии роженицы, о том, как проходят схватки, а муж роженицы от себя прибавлял: «Ужасно мучится... ох, как это ужасно! Кричит криком... нечеловечески... Что делать? Что делать, доктор? Как она мучится, бедная! Сделайте что-нибудь. Я не вынесу этих криков!»

И казалось: и здесь, у репродуктора, слышны были нечеловеческие стоны рожавшей женщины. Сергей Матвеевич оглянулся и увидел бледное лицо партбурга, стиснувшего зубами свою трубку.

“Shame! Shame, doctor. Disgraceful!”

“Watch the child’s heartbeat!” he shouted again to the operator, who, after a second’s thought, obediently began to tap out the message.

“She’s not delivered yet. No. It’s too early, old chap, too early,” said Sergei Matveich addressing all in the room. And silence reigned again. “Too early,” he murmured in a low voice this time and stared at the loudspeaker.

All at once he felt that he had a terrible, an aching, a frantic desire for the baby to be born alive. Alive, alive, and a boy! A curly-haired little chappie... He longed for him as if he were the father... The woman is saved, but the child, the child...

“Watch the heartbeat. Watch it carefully!”

“The heartbeat is distinct, clear,” he heard the operator’s words again.

No, no, not the operator’s words. It was the child’s heart beating he could hear, still in its mother’s womb. It was a human heart beating before it had come into the world. But a human being would appear just now and cry triumphantly, asserting its rights. What a heart it would have! A man’s human heart owing its very life to its Motherland, to those wireless operators, to that Party Secretary with the pipe, to the doctor, the therapist (and he’s a fine, a very fine chap!) and ... yes, to him, Sergei Matveich, too. And he laughed, he laughed as he had never laughed before. But in his laughter was not triumph, nor pride, nor satisfaction. It was something which he himself could not understand.

The pangs began. Radio messages from Cucumber Land now came in rapid succession. The doctor reported briefly on the mother’s condition and how the pangs were progressing and her husband added of his own accord: “She is suffering terribly.... oh! How dreadful it is! She is screaming at the top of her voice ... it’s more than man can bear.... What can be done? What can be done, doctor? How she is suffering, the poor thing. Do something! I cannot bear these screams!”

It seemed that there by the radio set too, those unearthly groans of the woman in labour could be heard. Sergei Matveich looked round and saw the pale face of the Party Secretary, his teeth clenched on his pipe.

— Ну, а вы что? Вы что, батенька? Что с вами? Ведь не ваша же жена рождает.

— Это верно, — слабо улыбнулся парторг, — не моя. Но ведь и женщина и ребёнок, как бы вам сказать... наши.

Сергей Матвееч смутился и рассердился на себя за свой дурацкий вопрос, за то, что не понял чувств парторга и, может быть, обидел его. Но некогда, некогда было думать об этом.

— Следите за сердцебиением ребёнка!

... Уже три часа прошло. Три часа назад он сел к аппарату и сейчас чувствовал себя необычайно уставшим, измученным, словно вымолоченным. Скоро ли, скоро ли это всё кончится, эти необыкновенные роды по радио?

И вдруг он услышал, как радист вскрикнул, радостно, ликую:

— Сын! Сын! Вот! Сын! — Он протянул Сергею Матвеечу радиogramму, и тот прочёл:

«Доктор, товарищи, родные*! У меня родился сын, сын, мальчик. Спасибо, спасибо вам всем за всё! Сергей Матвееч! Спасибо, спасибо вам, родной вы человек. Спасибо!»

Со всех сторон тянулись к Сергею Матвеечу руки. Горячие, дружеские, взволнованные. Его поздравляли, им восхищались, его благодарили. Парторг долго тряс ему руку и улыбался, приговаривая:

— Ах, Сергей Матвееч!.. Ну и человек же * вы! Ну и чудесно!.. И поздравляю... Вы действовали, как... как... как большевик, Сергей Матвееч!

А он сидел, растерявшийся и сразу обмякший; смотрел, ничего не понимая; читал радиogramму и не понимал её; слушал поздравления и не понимал их. Он растерялся. Хирург, он потерял спокойствие.

Вдруг представилась ему в новом, неожиданном свете вся его жизнь, и сам он, и его профессия, и студенческие мечты, и всё, что он делал, делает и может сделать.

Неужто * это он вчера мечтал о спокойной старости, о домике — как, бишь, * батенька: с настурциями и ночной фиалкой под окном?

“Well, what’s the matter with you? What’s wrong with you, old man? It’s not your wife that’s having a child, is it?”

“That’s true,” the Party Secretary answered with a feeble smile, “it’s not my wife. But that woman and that child are, how shall I put it?—they’re ours.”

Sergei Matveich was confused and angry at himself for his silly question and for not understanding the Party Secretary’s feelings and perhaps, offending him. But there was no time, none at all, to think of that.

“Watch the child’s heartbeat!”

... Three hours had already gone by. Three hours before he had sat down at the wireless and now he felt extraordinarily tired, exhausted, as though he had been racked. Would it soon end, this unusual childbirth by radio?

And suddenly he heard the radio operator shout joyfully, triumphantly:

“A son! A son! Look! A son!” He handed the message to Sergei Matveich, who read:

“Dear doctor, comrades and loved ones, a son is born to me, a son, a little boy. Thank you, thank you all, for everything. Thank you, Sergei Matveich, thank you, our dear, dear friend. Thank you!”

Hands reached out from all sides to Sergei Matveich. Warm, friendly, excited hands. They congratulated him, thanked him. For a long time the Party Secretary shook hands with him thanking him and repeating:

“Ah, Sergei Matveich! What a grand man you are! How wonderful! Congratulations.... You acted like... like a bolshevik, Sergei Matveich!”

And he sat there embarrassed and suddenly all limp; he looked and could understand nothing, read the radio message and could not make it out, heard the congratulations and could not understand them. He was confused. A surgeon who had lost his calm.

All at once he saw in a new light all his life, himself, his profession and his student dreams and all that he had done, was doing and could do.

Was it really he who had dreamt the evening before of a quiet old age, of a little house and—what was it he had said?—nasturtiums and wild orchids under the window?

IGOR ZABELIN

Igor Zabelin was born in Leningrad in 1927. He entered the Geographical Faculty of Moscow University in 1944 and graduated in 1948. Three years later he defended his candidate's thesis.

Zabelin has been on various expeditions. He prospected for gold in the Tuva Region, took part in an expedition looking for large herring shoals in the Sea of Okhotsk, explored the physical geography of Buryat-Mongolia and Tien Shans, and spent some time in the Carpathians and in the Arctic.

He has written over forty scientific works on physical geography.

Zabelin wrote numerous novels and short science fiction stories: *Where the Paths Converge*, 1958; *Meetings that Were Not*, 1958; *Zone of Blasts*, 1960; *The Riddles of Khanrkhan*, 1961. His novel *Builders* was published in 1962.



БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ

1

Нéсколько дней назáд, вернувшись в Ольховку после двухмéсячного отсутствия, Светлов узнал, что дéвушка, котóрая должна была стать его жéной, вышла зáмуж за молодóго геблога Вéтрина. Человéк далéко не экспансивный, Светлов почти без чувств* опустилсá на скамью и сидéл, как оглушённый, бессмысленно глядя пéред собой.

Науменко, котóрый недáвно гулял на свáдьбе,* а тепёрь пёрвым сообщил нóвость едвá успéшему снять рюкза́к Светлову, произносил длинную успокоительную речь, суть котóрой сводилась к томú, что все жéнщины, дéскать,* дрянь, он ёто всегда говорíл: но Светлов ничего не слýшал.

Бывáет так: человек дол́гим и трудным путём идёт к своему сча́стью, а жизнь на пёрвых порáх принóсит ему горáздо бóльше огорчéний, чем рáдости. Но стóит такóму человеку повéрить, что он любим и нашёл другá, с котóрым мóжно делиться кáждой мýслью и кáждым движéнием души, — мир слóвно поворачивается к нему иной стороной: свéтлой и красочной.

Полгóда вéрил Светлов в Сónю, вéрил в свою и её любовь, а ему нелегко было повéрить во всё ёто, потому что он уже немóлод, потому, что он любил рáньше и знал, что такóе разочаровáние. После тогó как в его жизнь вошла Сónя, всё его прёжнее существовáние приобрёлó вполне определённый смысл: он жил и работáл для тогó, чтóбы его полюбила Сónя.

Так он думал всего час назáд. Что случíлось с Сóней и почему она так легко забыла о нём, он не мог понять. Вероятно, она любила его не так, как он её, а мóжет быть, вообще не любила. Или во всём виновáт Вéтрин, дáже скорéе всего — он. Молодой, красивый пáрень, он вскружил гóлову девчóнке. И в сáмом дéле, почему не позабáвиться мéжду двумя маршру́тами? Светлов едвá не задохну́лся от бéшенства при мýсли о Вéтрине и до

WITHOUT WITNESSES

1

A few days ago, returning to Olkhovka after two months' absence, Svetlov learned that the girl who was to be his wife had married Vetrin, a young geologist. A man far from expansive, Svetlov sank on to a bench and sat stunned, staring blankly in front of him.

Naumenko, who had made merry at the wedding shortly before, was now the first to report the news to Svetlov, hardly giving him time to take off his rucksack. He delivered a long soothing speech, the substance of which was that all women are worthless and that he had always said so. But Svetlov heard nothing.

It sometimes happens that a man is on the long and hard road to happiness and life at first brings him far more grief than joy. But such a man has only to believe that he is loved and has found a friend with whom he can share every thought and every emotion of his soul, and the world seems to turn to him a different side, bright and colourful.

For half a year Svetlov had believed in Sonya, in his and her love, though this had not been easy, for he was no longer young and had loved before and knew what disappointment was like. When Sonya had entered his life all his previous existence had acquired a perfectly definite meaning: he lived and worked to win Sonya's love.

That was what he had thought only one hour earlier. He could not understand what had happened to Sonya or why she had forgotten him so easily. Probably she had not loved him as he loved her, maybe she had not loved him at all. Or else Vetrin was to blame for it all, most probably he was. A young and handsome fellow, he had turned the girl's head. Indeed, why should he not have his fun between two expeditions? Svetlov almost choked with rage at the thought of Vetrin.

бóли стýснул обéими рука́ми большúю лы́сую гóлову с остáтками рыжева́тых волóс. Чёрт возьми! Если бы онí встретились где-нибудь в лесу́, он сейча́с не пору́чился бы за себя́...

Нау́менко продо́лжа́л говори́ть, и Светло́в, в конце́ концов услы́шав его́, помóрщился, как от зубно́й боли.

— Поди́-ка * ты, друг, к себе́, — сказа́л он. — Что пу́стбе ме́лешь?

Пóсле ухóда Нау́менко Светло́в встал, подошёл к му́тному, заси́женному му́хами зéркалу, провёл руко́й по тяжёлому подборóдку, зарóсшему колю́чей рыжева́той щети́ной, и усме́хнулся. Да где же ему́ соперничать с молоды́м Вéтриным!

Светло́ву шёл три́дцать шесто́й год, но сейча́с ему́ мо́жно бы́ло дать все sóрок. Лы́сый, распóлнёвший, с почти́ квадра́тной фигу́рой мужчи́на — кому́ он ну́жен! Со́ня пра́ва. То ли де́ло * Вéтрин!

Светло́в тща́тельно ви́брился, вы́мылся, переоде́лся и то́лько пóсле э́того вы́шел из до́му. Он реши́л не захо́дить к Со́не — не дай бог подверне́тся там по́д руку Вéтрин! — и пра́мо напра́вился к до́му нача́льника экспеди́ции доложи́ть о возвра́щении.

У до́ма нача́льника он уви́дел Вéтрина. Тот шёл ему́ навстрéчу — стро́йный, подтяну́тый, шёл и улыба́лся на́глой, вызыва́ющей улы́бкой, слóвно говоря́щей, что он не собира́лся уступа́ть доро́гу Светло́ву не то́лько в жи́зни, но да́же на деревéнской у́лице. Когда́ онí поравня́лись, у Светло́ва потемне́ло в глаза́х * и он вонзи́л отросши́е но́гти в ладо́ни, что́бы поборо́ть себя́.

Вéчером пришёл Нау́менко с бутыл́кой спи́рта.

— Вы́пьем? — спроси́л он.

— Вы́пьем, — кивну́л Светло́в.

Он пил, и на душе́ у него́ бы́ло пу́сто и темно́, и спирт не притупля́л, а, скорéе, да́же обостря́л ни на мину́ту не утиха́ющую боль. Нау́менко о́пять непрерýбно говори́л, а Светло́в о́пять его́ не слýшал, и то́лько когда́ тот упомяну́л Вéтрина, насто́рожился:

— Что ты говори́шь о Вéтрине?

— Дрянь, говори́ю, он. Челове́к дрянно́й, а геóлог того́ ху́же. И вот же, на́ тебе *...

— Да, — согласи́лся Светло́в.

With both his hands he squeezed his large bald head with what was left of reddish hair till it hurt. Damn it, if they were to meet somewhere in the forest he would not vouch for himself....

Naumenko went on talking and Svetlov, hearing him at last, grimaced as if with toothache.

"You go home now, chum," he said. "Why all the blather?"

After Naumenko's departure Svetlov rose, went to the tarnished, fly-blown mirror, ran his hand over his heavy chin covered with bristly red stubble and smiled bitterly. What kind of a rival for Vetrin was he?

Svetlov was getting on for thirty-six, but now you could have given him all of forty. Bald, stout, with an almost square figure, who cared for him? Sonya was right. Vetrin was another man altogether.

Svetlov carefully shaved, washed himself and changed his clothes and only then went out. He decided not to go to Sonya's—he might meet Vetrin there, which God forbid!—and he made straight for the expedition chief's house to report his return.

Near the chief's house he saw Vetrin. Slender and trim, he was coming in Svetlov's direction, smiling insolently and defiantly, which seemed to mean that he did not intend to give way to Svetlov either in life or even in the village street. As they came level, the blood rushed to Svetlov's head and he dug his unpared nails into his palms to control himself.

In the evening Naumenko came with a bottle of alcohol.

"Let's have a drink?" he asked.

"Let's," Svetlov nodded.

He drank and his heart was empty and dark, and the alcohol did not blunt, but rather even sharpened his unrelenting pain. Again Naumenko spoke without stopping and again Svetlov did not listen to him. Only when the other mentioned Vetrin did he become alert.

"What's that about Vetrin?"

"He's no good, I say. No good as a man and worse as a geologist. And see now...."

"Yes," agreed Svetlov.

Сам он ни разу не обругал Ветрина вслух, но ему было приятно, что его ругают другие.

— Помнишь, как со мной-то он тогда, весной... Связываться с ним неохота,* а то бы...

— Да, — снова согласился Светлов, хотя отлично помнил, что в том крупном споре, нашумевшем на всю экспедицию, прав оказался мальчишка Ветрин.

Они пили почти до утра, а когда стали гаснуть звезды, Светлов сказал Науменко, чтобы тот уходил. Науменко по стенке обошел комнату и скрылся за дверью. Но Светлов не лег спать. Он распахнул окно и, глядя на пустую темную улицу, обхватил голову руками и начал тихонько раскачиваться, словно стараясь умерить нестерпимую боль.

На следующий день Науменко опять пришел с бутылкой спирта, но Светлов пить отказался. Три дня лежал Светлов в избе на топчане, никуда не ходил и ничего не делал. Он осунулся, похудел, а вокруг глаз легли темные круги, и от этого казалось, что глаза запали и увеличились. На пятый день Светлова вызвал к себе начальник экспедиции.

Ночью выпал первый снег, и тайга, подступавшая вплотную к избам, слегка пожелтела. Морозный воздух вернул Светлову бодрость, и он даже расправил плечи, неторопливо шагая по затвердевшей земле.

У начальника сидел Ветрин. Светлов прошел мимо него, как мимо столба, и подсел к столу.

— Вчера получена радиграмма из Иркутска, — без всяких предисловий сказал начальник. — Нам предложено заснять еще один участок дополнительно к плану. Участок большой, и его придется пересечь двумя маршрутами. Один сделаешь ты, второй — Ветрин. До верховьев Амги вы можете идти вместе, потом разойдетесь и через полмесяца встретитесь в верховьях Бии. Отметьте это место у себя на карте. Отметили? Вы должны встретиться там третьего октября, ни раньше, ни позже. Потом пустым ходом* пойдете вниз по Бии до устья Улука, свяжете плот и спуститесь до села Кировского. Ответственным за поход назначается Светлов. Ясно?

He himself had not once abused Vetrin out loud, but it pleased him when others did.

"Remember what he did to me that time in spring... I don't want to have anything to do with him, or else..."

"Yes," Svetlov agreed again, though he understood full well that in the great argument that had made a stir in the whole expedition party it was young Vetrin that had turned out to be right.

They went on drinking almost till morning, and when the stars began to dim, Svetlov told Naumenko to go. Naumenko stumbled to the door, holding on to the wall, and disappeared. But Svetlov did not go to bed. He threw the window open and stared out into the dark, empty street. He clasped his head in his hands and started rocking gently as if trying to alleviate the unbearable pain.

The next day Naumenko again came with a bottle of alcohol, but Svetlov refused to drink. For three days he lay on his trestle-bed in the izba, going nowhere and doing nothing. His face became pinched, he grew thin, and dark circles formed round his eyes so that they seemed sunken and larger. On the fifth day he was summoned by the chief of the expedition.

During the night the first snow had fallen and the taiga, which came quite close to the izbas, had begun to turn yellow. The frosty air braced Svetlov and he even squared his shoulders as he strode leisurely over the hardened ground.

Vetrin was sitting in the chief's office. Svetlov went past him as if he had been a post and sat down by the desk.

"Yesterday a telegram was received from Irkutsk," the chief said without any preamble. "We are to survey another area over and above the plan. It's a large area and will have to be crossed by two routes. You will do one, and Vetrin the other. You can go together as far as the upper reaches of the Amga, then you will separate and meet half a month later on the upper Biya. Mark that place on your maps. Have you marked it? You must meet there on October the third, no earlier, no later. Then you'll go down the Biya, without surveying, to the mouth of the Uluk, make a raft and sail down to the village of Kirovskoye. Svetlov will be responsible for the expedition. Clear?"

Светлов предпочёл идти до верховьев Амги один и уже на следующий день, на рассвете, вышел в маршрут. Сотни раз вот так же с рюкзаком за спиной, с полевой сумкой через плечо, с геологическим молотком за поясом уходил он с базы в тайгу, и каждый раз среди гор и тайги у него возникало одно и то же чувство — чувство уверенности в собственных силах, чувство умиротворённости, спокойствия. И даже теперь, несмотря на остроту всего пережитого, холодный воздух, пожелтевшие лиственницы, прозрачная река, почти бесшумно скользящая по обкатанным валунам, округлые, щетиновые от леса вершины сопки, небо, плотное и синее, и слегка пригревающее сентябрьское солнце — всё это навевало спокойствие, притупляло боль, сжимая её в маленький комочек без острых углов. Идти было нелегко, потому что пришлось взять с собой большой запас провианта, топор, котелок и, против обыкновения, захватить ружьё — на случай, если еды не хватит; но Светлов шёл размеренным неторопливым шагом, словно не замечая почти двухпудового груза.* В рюкзаке у него лежал ещё один необычный предмет — фляжка со спиртом. Светлов никогда не пил в маршрутах, но на этот раз, не надеясь на себя, решил запастись «лекарством», как он мысленно выражался.

Светлов шёл по местам, уже заснятым другими, и мог бы идти не задерживаясь, но то и дело уходил в сторону от тропы, поднимался к выходам коренных пород на склонах, отбивал куски гранита или базальта, дробил их молотком и тщательно перебирал. И когда ему однажды среди обломков чёрного с сероватым отливом базальта удалось найти кристалл рыжеватого-красного граната-пироба, он был по-настоящему счастлив и, сбросив рюкзак, долго сидел, любуясь находкой. Он вертел кристалл перед глазами, и лучи солнца, казалось, проникали внутрь кристалла и отражались в его гранях, как в глубокой тёмной воде. Светлов любил камни, как любят живых существ, и с каждым из них у него в памяти связывались свои переживания или впечатления. Дома, в Иркутске, у него в коллекции хранились привезённый с Алтая величественный белоречит, по цвету по-

Svetlov preferred to go to the upper Amga alone, and at dawn the next day he started on his route. Many times before, just as now, his rucksack on his back, his mapcase slung over his shoulder and a geologist's hammer at his belt he had left his base for the taiga, and each time, amid the mountains and the taiga, the same feeling had arisen in him, a feeling of confidence in his own abilities, a feeling of peace and calm. And even now, despite the acuteness of all he had suffered, the cold air, the yellow larches, the limpid river gliding almost noiselessly over the smoothworn boulders, the round mountain tops bristling with forests, the sky, solid and blue and the September sun that still gave some warmth, dulled his pain and squeezed it into a small lump with no sharp edges. The going was not easy, for he had had to take with him a large stock of provisions, an axe, a cooking-pot, and, contrary to his habit, a gun, in case his food ran out. But he went with measured, unhurried steps, as though he did not notice his load of nearly two poods. In his rucksack there was one more unusual object, a flask of alcohol. Svetlov never drank on the route, but this time, not feeling sure of himself, he had decided to provide himself with medicine, as he mentally put it.

Svetlov went through places already surveyed by others and could have gone on without stopping. But now and then he left the track to climb up to exposures of basic rock on the slopes, broke off bits of granite or basalt, crushed them with his hammer and examined them carefully. And when once, among fragments of black basalt shot with grey, he found a crystal of red pyrope, he was genuinely happy and, throwing off his rucksack, sat for a long time admiring his find. He turned the crystal before his eyes and the rays of the sun, it seemed, penetrated inside the crystal and were reflected in its facets as in deep dark water. Svetlov loved stones as one loves living beings and his memory associated some experience or impression with every one of them. At home in Irkutsk he had in his collection a magnificent *belorechit*, brought from the Altai, of a colour suggesting soaked raw meat, a dull-green solid nephrite, "the stone of

хóжий на вѣмокшее сырѳе мясо, плóтный мѣтно-зелѣный нефрѣт, «камень вѣчности», найденный в Востóчных Сайнах, разноцвѣтные яшмы Урала, краснó-полосатый агат и десятки другѣх камней, собранных им в различных уголках страны. Каждый из них занимал своё особое мѣсто в его душѣ,* и вот тепѣрь гранат-пирóп навсегда остане́тся в его пámяти связаннóм с переживáниями пяти минѣвших дней, с дѣумами о Сóне, с ненави́стью к Вѣтрину. К Вѣтрину... Светлóв подѣумал, что надо бѣдет сдѣлать так, чтóбы они не встрѣтились в тайгѣ. Зачѣм ему э́то нѣжно? Чтóбы вести в Кѣровское, к Сóне? Пусть добира́ется сам — пешкóм или на крыльях любви — безразлично. Эти мѣсли испóртили Светлóву настроѣние, и он, тщáтельно убрав гранат-пирóп, взвалил на плѣчи рюкзак и пошѣл дáльше.

Так он шѣл нѣсколько дней до верховьев Амги, а там началась рабóта — методическая, спокойная, неторопливая. Светлóв тщáтельно описывал обнажѣния, иногда брал образцы, и вес рюкзака почти не уменьшался.

Через полмѣсяца, опоздав на одѣн день, он пришѣл к мѣсту встрѣчи. Заготóвив для костра сушнякá и на всякий слѣчай устроив навѣс из плащ-палатки, он внимáтельно осмотрѣл большѣю поляну, но нигдѣ не обнаружил следóв человека. Очевѣдно, Вѣтрин ли́бо прошѣл вниз по Бѣи, не остановѣвшись в услóбленном мѣсте, ли́бо запáздывал. И в том и в другóм слѣчае Светлóв мог его не ждать. Документáльное подтверждѣние тогó, что он пришѣл к мѣсту встрѣчи, — тщáтельные записи в полевóм дневникѣ — у него имѣлись. Пѣред начальством ему оправдываться не придѣтся. Да и немудрено в тайгѣ разойтѣсь двум лѣдям, особенно э́сли одѣн из них зелёный новичок.

Пригревало солнышко, приятно пахло увядáющей травой, и Светлóв, сладко потянувшись, лёг пря́мо на зѣмлю и засну́л. Просну́лся он под вѣчер, разложѣл костѣр и долго сидѣл, наблюдáя за гибкими языками оранжѣвого пламени. Он сидѣл и дѣумал, что дней черѣз дѣсять-двенáдцать* придѣт в Кѣровское, а ещѣ дней черѣз дѣсять улетѣт в Иркутск; но мысль о возвращѣнии домóй не принесла ему радости: когдá-то он надеялся вернутьсá вмѣсте с Сóней...

Пóсле чая он мгновѣнно засну́л — скáзывалось утом-

eternity," found in the Eastern Sayans, a varicoloured jade from the Urals, an agate streaked with red and dozens of other stones which he has picked up in various parts of the country. Each one of them had a special place in his heart and now the granite-pyrope would remain for ever linked in his memory with the sufferings of the past five days, with thoughts of Sonya and hatred for Vetrin. Vetrin.... He must see that they did not meet in the taiga, Svetlov thought. What need had he to do so? To lead him to Kirovskoye and to Sonya? Let him get there himself—on foot or on the wings of love, it was the same to him. These thoughts upset Svetlov, and carefully packing away the granite-pyrope, he shouldered his rucksack and went on.

It took him several days to reach the upper Amga, and there he began his work, methodical, calm, unhurried. He made careful descriptions of the exposures and sometimes took samples, and the rucksack hardly diminished in weight.

Half a month later he arrived at the meeting-place, one day late. Having gathered some brushwood for the fire and made a shelter with his cape just in case, he examined the large glade attentively, but nowhere did he detect any trace of a man. Apparently Vetrin had either gone down the Biya without stopping at the appointed place or he was late. In either case Svetlov was not obliged to wait for him. He had documentary proof—careful entries in his field diary—that he had come to the meeting-place. He would not need to justify himself to his chiefs. Besides, it was quite easy for two men to miss each other in the taiga, especially if one of them was a greenhorn.

The sun was warm, there was a pleasant smell of fading grass. Svetlov stretched voluptuously, lay down on the ground and fell asleep. He woke up towards evening, lit a fire and sat for a long time watching the curling tongues of orange-coloured flame. He sat and thought that in ten or twelve days he would arrive in Kirovskoye, and in another ten days or so he would fly to Irkutsk. But the thought of his homecoming brought him no joy: there had been a time when he hoped to return with Sonya....

After tea he instantly fell asleep, the fatigue of the many

ление после многодневного маршрута, — а утром не спеша стал собираться. Укладывая рюкзак, он думал, что надо бы ещё полдня подождать. Ветрин, конечно, подлец, это очевидно, и жалеть таких нечего, но всё-таки... Сколько раз Светлов ругал самого себя вот за такое нелёпое и ненужное проявление совестиливости, да, видно, горбатого могила исправит.* Какое мне дело, погибнет или не погибнет Ветрин и почему он обязательно должен погибнуть без меня? — рассуждал он, откладывая в сторону рюкзак и снова ложась на стёганку. Пролежав полчаса, он подумал, что уж если ждать, то глупо сидеть на месте и лучше пойти навстречу. Вдруг Ветрин сломал себе руку или ногу и, выбиваясь из сил, ползёт сюда, к верховью Бий? Мысль эта показалась Светлову вполне реальной. Разве эти самонадеянные мальчишки умеют ходить по горам? Тогда и гляди* где-нибудь скатятся с кручи, а потом отвечай за них. И в самом деле, не вернётся Ветрин — и все будут показывать пальцем на Светлова: это он, дескать, из-за Сони его погубил. Доказывай потом, что ты не виноват!

Светлов достал карту и разложил её перед собой. Ветрин мог выйти к верховью Бий по двум ущельям, но какое из них он выбрал, Светлов не знал: они не совпадали своих маршрутов. Ущелья эти резко отличались одно от другого. Первое — широкое, легкопроходимое, с заросшими склонами. Второе — труднодоступное, крутосклонное, наверняка с хорошо обнажёнными коренными породами. Сам Светлов обязательно выбрал бы второе: идти труднее, но зато интересней и больше материала соберёшь. А какое ущелье выбрал Ветрин? Что он за геолог? Науменко говорил, что Ветрин — дрянный геолог, но он кого хочешь обругает, ему верить нельзя. В конце концов не стоит думать о других хуже, чем о самом себе, — рассуждал Светлов. — Это ж только дураки себя самими умными считают.

И он налегке, захватив только полевую сумку, отправился в сторону второго, труднодоступного, ущелья. Чем дальше он шёл, тем сильнее крепло в нём убеждение, что с Ветриным не всё благополучно. Светлов не смог бы объяснить, почему у него возникло это убеждение,

days on the route was telling. In the morning he set unhurriedly about getting ready to leave. As he packed his rucksack he thought he should wait another half day. Vetrin, of course, was a scoundrel, that was obvious and there was no reason to pity the like of him, but all the same.... How many times had Svetlov scolded himself for such absurd and unnecessary scrupulousness, but it seemed that he would die as he had lived. What business of mine is it, whether Vetrin perishes or not, he argued putting his rucksack aside and lying down again on his quilted jacket, and why is he bound to perish just because I'm not there? After lying there for half an hour it occurred to him that since he had decided to wait, it was foolish to stay there and it would be better to go and meet Vetrin. Suppose Vetrin had broken an arm or a leg and was now wearing himself out crawling to the upper Biya where Svetlov was? This appeared perfectly possible to him. Could conceited youngsters like Vetrin travel in the mountains? They'd go and tumble down a steep slope and then you would have to answer for them. And, indeed, if Vetrin did not return, everybody would point at Svetlov and say he had caused him to perish because of Sonya. Try and prove then that you were not to blame!

Svetlov got out his map and spread it in front of him. Vetrin could reach the upper Biya through two gorges, but which of them had he chosen, Svetlov did not know, for they had not co-ordinated their routes. These gorges differed very greatly one from the other. The first, broad and easily passable, had wooded slopes. The second was difficult of access, had steep slopes and probably good basic rock exposures. Svetlov himself would certainly have chosen the second, the going was harder, but on the other hand it was more interesting and you would collect more material. But which gorge had Vetrin chosen? What sort of a geologist was he? Naumenko had said that Vetrin was a rotten geologist, but he would abuse anybody, he could not be trusted. After all, it's no use thinking worse of others than of oneself, Svetlov reasoned; only fools imagine they are the cleverest.

Travelling light, taking nothing but his mapcase, he set out in the direction of the second, less accessible gorge. The farther he went the stronger became his conviction that something had gone wrong with Vetrin. He could not explain the reason for this conviction, but it was there and the scenes

но оно возникло, и Светлову рисовались картины одна мрачнее другой. Вместе с тем нарастало чувство злости.

Светлов шёл час, другой, третий, а когда солнце стало клониться к западу, увидел впереди на тропе человека с большим рюкзаком за спиной. Это был Ветрин. Он шёл как ни в чём не бывало, и Светлов, поняв, что ошибся в предчувствии, обозлился от бешенства.

Они не подали друг другу руки.

— Между прочим, сегодня пятое октября, — едва сдерживая себя, глухо сказал Светлов.

— Между прочим, я никого не просил ждать меня, а тем более идти мне навстречу. Как-нибудь и сам дошёл бы.

— Вот что, когда станешь начальником, тогда будешь рассуждать. А пока ты обязан выполнять распоряжения.

— Пошёл ты!

— Ну!

Они стояли друг против друга: один коренастый и приземистый, второй стройный и высокий, оба ненавидящие, но по-разному. В ненависти Ветрина чувствовалось пренебрежение победителя к побеждённому. В ненависти Светлова — оскорблённое самолюбие и ещё нечто гораздо большее: ярость человека, утратившего счастье, но не желающего мириться с этим и не желающего ни на минуту признать превосходство соперника. Светлову было бы легче пережить встречу, если бы он действительно нашёл Ветрина нуждающимся в его помощи, — это уравнило бы их. Но видеть Ветрина здоровым, торжествующим, нахально улыбающимся... Светлов перевёл взгляд на его губы, розовые, полные, и подумал, что этими самыми улыбающимися губами он целовал Соню... В глазах у него потемнело, как тогда, при первой встрече, и он сказал осипшим голосом:

— Нечего стоять. Иди вперёд!

Ветрин поправил рюкзак и с беззаботным видом прошёл мимо Светлова, едва не задев его. Он шёл впереди, немного рисуясь, легко прыгая с камня на камень, словно показывая: вот, мол,* как надо ходить по горам. Светлов, понемногу отставая от него, думал: «Допрыгаешься* ты когда-нибудь, голубчик!»

А дальше произошло следующее: Ветрин легко прыг-

he pictured to himself were becoming more and more gloomy. At the same time his anger was rising.

He walked on for an hour, a second, and a third, and when the sun began to dip westwards, he saw a man with a large rucksack on the track ahead. It was Vetrin. He was going along as if nothing had happened, and Svetlov, realising that he had been mistaken in his foreboding, grew wild with anger.

They did not shake hands.

“By the way, today is the fifth of October,” Svetlov said thickly, barely controlling himself.

“By the way, I didn’t ask anybody to wait for me, let alone to come and meet me. I would have got there somehow by myself.”

“Look here, you can argue as much as you like when you become expedition leader. In the meantime you must carry out orders.”

“Oh, cut it out!”

“Now then!”

They stood facing each other, one thickset and short, the other slender and tall, both full of hatred, but in different ways. In Vetrin’s hatred one could feel the scorn of the victor for the vanquished. In Svetlov’s there was outraged pride and something still stronger, the fury of a man who had lost his happiness but would not resign himself to it or admit for a single moment his rival’s superiority. It would have been easier for Svetlov to bear this meeting if he had indeed found Vetrin in need of his help, that would have placed them on equal footing. But to see Vetrin fit and exultant, insolently smiling... Svetlov shifted his gaze to his lips, which were pink and full, and it occurred to him that those smiling lips had kissed Sonya... The blood rushed to his head again as before on that first meeting, and he said in a husky voice:

“There’s no reason to remain standing here. Go on ahead!”

Vetrin pulled his rucksack straight and passed by Svetlov with a carefree air, almost knocking against him. He walked ahead with a slight swagger as much as to say: “This is the way to go through mountains.” Svetlov fell behind a little. “You’ll jump yourself into trouble yet, my good fellow!”

And then came this: Vetrin leaped easily from one knoll

нул с одного бугорка на другой, прикрытый моховой подушкой; нога его неожиданно провалилась сквозь мох в расщелину. Светлов увидел, как он, словно споткнувшись, резко наклонился, рюкзак перелетел ему через голову, и Ветрин, не успев высвободить ногу, с коротким пронзительным криком упал на землю.

— Долго ты думаешь тут лежать? — спросил Светлов, неторопливо подходя к нему.

— Нога... — еле слышно сказал Ветрин.

Сразу разворотить камни Светлову не удалось, но как только он притронулся к ноге, Ветрин вздрогнул всем телом и заскрипел зубами. Светлов всё-таки освободил его ногу и, достав нож, разрезал штанину.

— Перелом! Допрыгался, мерзавец! Что же, тебя на ручках теперь нести?

Ветрин, полулежа на склоне, молчал. Светлов посмотрел на его перекошенное, серое лицо, и ему сделалось страшно. Он совершенно забыл, что ещё час назад мечтал найти Ветрина примерно в таком положении, и мучительно искал выхода. Надёяться на помощь он не мог, а тащить на себе здорового детину* сквозь тайгу добрых полторы сотни километров да спускаться с ним по бурной горной реке на плоту — это перспектива не из приятных.

— Допрыгался, мерзавец, — машинально повторил он.

— Уйди, — прохрипел Ветрин.

— Молчи теперь... — и он выругался длинно и скверно. — Сидел бы под юбкой у бабы*! Нашла себе урбда*!

— Ты! — Ветрин подался вперёд всем телом. — Если ты ещё раз упомянешь Сонию! — он шарил по земле рукой в поисках камня. — Убью!

Светлов засмеялся сначала хрипло и неестественно, а потом громко и раскатиисто, содрогаясь всем своим плотным и тяжёлым телом.

— Убью! — Ветрин, наконец, нашёл камень, но Светлов, не переставая смеяться, повернулся к нему спиной и неторопливо пошёл вниз. Он уходил всё дальше и дальше. Рука Ветрина ослабла и выпустила камень. Он смотрел на удаляющегося Светлова и кровь в висках стучала: «так, так, так, так». Он понимал, что остаётся

он to another that was covered with a cushion of moss, and his foot suddenly sank through the moss and into a crevice. Svetlov saw him lurch forward as if he had tripped. Vetrin's rucksack flew over his head, and before he could extricate his foot, he fell with a short, piercing cry.

“Do you intend to lie there long?” Svetlov asked, walking up to him with unhurried step.

“My leg...” Vetrin said in a faint voice.

Svetlov did not succeed in pulling the stones away immediately, but as soon as he touched Vetrin's leg Vetrin shuddered violently and gritted his teeth. Svetlov released his foot all the same and, taking out his knife, slit the trouser leg.

“A fracture! Had enough jumping, you scoundrel? Expect me to carry you in my arms now?”

Vetrin, reclining on the slope, was silent. Svetlov looked at his distorted, ashen face and was appalled. He had quite forgotten that only an hour earlier he had longed to find Vetrin in somewhat the same predicament and he searched agonizingly for a way out. He could not expect any help from others, and it was no gratifying prospect to have to carry a strapping young fellow a good hundred and fifty kilometres through the taiga and sail with him on a raft down a turbulent mountain river.

“That's all the jumping you'll do, you scoundrel,” he repeated mechanically.

“Go away,” Vetrin said hoarsely.

“Shut up now...” Svetlov let out a string of filthy abuse. “You should have stuck to your wife's skirt. A fine partner she's got herself!”

“You!” Vetrin strained his whole body forward. “If you mention Sonya again,” his hand searched on the ground for a stone, “I'll kill you!”

Svetlov laughed, hoarsely and unnaturally at first, then in loud peals, his thickset, heavy body shaking all over.

“I'll kill you!” Vetrin had found a stone at last. But Svetlov, still laughing, turned his back on him and leisurely walked downhill. He went farther and farther. Vetrin's hand relaxed and let go of the stone. He looked at the receding Svetlov and the blood pounded in his temples. He knew that to remain alone meant to perish and yet he did not call

одному — значит погибнуть, но всё-таки не позвал Светлова и не попросил помощи. Светлов скрылся за деревьями. Тогда Ветрин лёг на спину и лежал, словно придавленный к земле тоскливым и беспредельным чувством отчаяния. Это чувство не имело границ. Оно постепенно распространялось на склон, на котором лежал Ветрин, на реку, на долину, на всю тайгу, на всё Забайкалье, а потом вдруг сразу конкретизировалось в образе Сони. Соня! Он никогда не увидит её. Это и есть отчаяние. Ветрину хотелось кричать, плакать, звать Сонию, бежать к ней, но он молча лежал и смотрел в ясное, уже посветлевшее перед закатом небо широко раскрытыми сухими глазами. Соня! Он должен увидеть её ещё раз, доползти к ней, если нельзя добежать. Он лихорадочно соображал, что ему делать, кусая губы от злости на собственную беспомощность, и боль в сломанной ноге словно немного затихла. «Шины! Надо наложить на ногу шины!» — подумал он и поднялся на локтях. Но до леса было далеко, не менее двухсот метров. Боль в ноге снова прошла по всему телу, и Ветрин пал. Он не помнил, сколько времени пролежал так, — ему казалось, что бесконечно долго. Вокруг него всё время стояла плотная тишина, не нарушаемая ничем, кроме слабого шума реки, бежавшей по дну ущелья. У самой головы рос кустик белой полыни. Ветрин смотрел на него и ему казалось, что он смотрит в густую чащу с причудливо переплетёнными ветвями. По этим ветвям, сильно раскачивая их, осторожно лез огромный бурый кузнечик с зеленоватыми глазами. Кузнечик удобно устроился на стебельке, расправил задними ножками крылья и застрекотал, не обращая никакого внимания на лежащего рядом человека. Он стрекотал оглушительно громко. Ветрин смотрел на него не отрываясь, и беспредельное чувство отчаяния перелилось в кузнечика и уместилось в нём.*

Он не сразу услышал слабые посторонние звуки, пробивавшиеся через грохот стрекотания. Светлова он увидел только тогда, когда тот почти вплотную подошёл к нему. В руке Светлов держал ровные, тщательно оструганные палки для шин. Ветрин не выдержал: по его щекам потекли слёзы, и он напрасно стискивал кулаки, кусал губы, чтобы сдержать их.

Svetlov and did not ask for help. Svetlov disappeared behind some trees. Then Vetrin lay down on his back and remained lying as though pinned to the earth by agonizing and infinite despair. This feeling had no bounds. It gradually spread to the slope on which Vetrin lay, to the river, the valley, the whole taiga, and the whole Transbaikal and then suddenly became concrete in the shape of Sonya. Sonya! He would never see her again. That was indeed despair. Vetrin felt like shouting, weeping, calling Sonya, running to her. But he lay there in silence and looked with wide-opened, tearless eyes at the clear sky, which had brightened before sunset. Sonya! He had to see her once more, to crawl to her, since he could not run. Feverishly he considered what he could do, biting his lips with rage at his helplessness, and the pain of his fractured leg seemed to abate a little. Splints, he thought, I must put my leg in splints! And he raised himself on his elbows. But the woods were a good way off, at least two hundred metres. The pain of his leg again shot through his whole body and he fell back. He had no idea how long he lay like that, it seemed like eternity. Solid silence surrounded him all the time with nothing to break it but the faint noise of the stream flowing at the bottom of the gorge. There was a bush of white wormwood growing just by Vetrin's head. He looked at it and fancied he was peering into a thicket in which the branches interlaced in fantastic patterns. Along these branches a huge brown grasshopper with greenish eyes crawled cautiously, making them rock. It settled comfortably on a stalk, straightened its wings with its hind legs and began to chirr without paying any attention to the man lying close by. Its chirring was ear-splitting. Vetrin stared at the grasshopper and his infinite despair overflowed into it and became embodied in it.

It was some time before he heard the faint sounds that forced themselves on his ears through the rattle of the chirring. He only saw Svetlov when the latter had come close up to him. Svetlov held in his hand smooth, carefully trimmed sticks that he had cut for splints. This was more than Vetrin could bear: tears ran down his cheeks and he could not keep them back although he clenched his fists and bit his lips.

Светлов, которому и в голову не могло прийти, что его заподозрили в намерении бросить беспомощного товарища, расценил эти слёзы по-своему.

— Эх, ты! — тоном глубочайшего презрения сказал он.

Наложив шины, Светлов взял полевую сумку Ветрина, в которой лежали дневники, и надел себе через плечо.

— Надо бы костыли сделать, — сказал Ветрин, но Светлов не обратил внимания на его слова.

— Вставай! — коротко приказал он.

Когда Ветрин, опираясь на его руку, встал на одну ногу, Светлов присел и подставил ему свою квадратную спину.

— Ложись животом на плечи — голову в одну сторону, ноги в другую.

— С костылями я бы сам дошёл...

— Долго мне ждать?

Нести добрых семьдесят килограммов по крутому лесистому склону, нести осторожно, стремясь не причинить лишней боли, не задеть за камни или стволы, оказалось делом настолько трудным, что через каких-нибудь триста метров у Светлова появилось желание опустить ношу на землю. Ещё через двести метров он окончательно выбился из сил, но продолжал идти всё так же неторопливо и тщательно выбирая места, куда поставить ногу. Длинный переход — длительный отдых, — говорил он самому себе и прошёл не менее километра, прежде чем остановился и опустил Ветрина на землю. Он упал рядом с ним лицом вниз и лежал так минут пятнадцать, а потом повернулся на спину. Через полчаса он поднялся и вновь подставил Ветрину плечи.

У экспедиционных работников со временем вырабатывается почти безошибочное чувство расстояния. Идёт ли он пешком, едет ли на лошади или на машине, не занимаясь специально вычислением пройденного пути, он всё-таки всегда знает, сколько он прошёл или проехал. Поэтому Светлов точно определил, что на третьем переходе он не прошёл и километра, а на четвертом выдохся, едва ли пройдя больше половины этого расстояния. На пятом переходе он снова прошёл полкилометра, но почувствовал, что больше сегодня идти не сможет. На-

It did not for a moment occur to Svetlov that he could be suspected of wanting to abandon his helpless comrade, and he interpreted these tears in his own way.

"Ugh, you!" he said in a tone of utmost contempt.

Having splinted the leg, Svetlov took Vetrin's mapcase with the diaries and slung it over his shoulder.

"Ought to make crutches," said Vetrin but Svetlov took no heed of his words.

"Get up!" he ordered curtly.

When Vetrin, leaning on his arm, stood up on one leg, Svetlov squatted down and offered his square back.

"Lie on your stomach on my shoulders, head in one direction, feet in the other."

"With crutches I could get there by myself...."

"Shall I have to wait long?"

To carry a good seventy kilogrammes along a steep wooded slope, to carry it carefully, striving not to cause any unnecessary pain, not to knock against stones or stumps, turned out to be so difficult that after some three hundred metres Svetlov felt the need to lay down his burden. After another two hundred metres he was quite exhausted, but he continued to advance just as unhurriedly, carefully picking each foothold. A long march, then a long rest, he said to himself and went no less than a kilometre before he stopped and deposited Vetrin on the ground. He fell beside him, face down, and lay thus about a quarter of an hour. Then he turned over on his back. Half an hour later he rose and again offered Vetrin his shoulders.

Geologists on an expedition finish by developing an almost infallible sense of distance. Whether travelling on foot, on horseback, or in a car, they always know how far they have gone without any special reckoning. Svetlov therefore judged with accuracy that on the third march he had not even gone a kilometre. And on the fourth he was completely spent after hardly half that distance. On the fifth he covered another half kilometre, but felt that he would be unable to do any more that day. It was beginning to get dark and he had to think of a place to spend the night. He chose a suit-

чинало смеркаться, и следовало подумать о ночлеге. Выбрав удобную полянку, Светлов перенёс туда Ветрина и разложил костёр. У них не было с собой ни посуды, ни еды, и только в сумке у Светлова лежало три сухаря и четыре куска сахара, прихваченные с собой на всякий случай. Светлов тщательно разделил пополам сухари и сахар и одну половину молча протянул Ветрину. Тот так же молча взял их и стал грызть,* мечтая о кружке воды. Река текла в нескольких шагах от костра, но всё-таки он не решался попросить Светлова принести ему хоть немного воды, а тот, сжевав* сухари и сахар, лёг на бок и мгновенно уснул.

А Ветрин, сколько ни старался, заснуть не мог. Сильно болела растрёпанная нога, но, пожалуй, ещё сильнее мучило чувство стыда. «Вот если бы со Светловым что-нибудь случилось и я бы спас его, было бы другое дело», — мрачно фантазировал он. Влажный ночной холодок проник под рубашку, и Ветрин, пожившись, придвинулся поближе к огню. Так он и не мог заснуть всю ночь и только перед рассветом ненадолго забылся, но Светлов почти сразу же разбудил его.

Он добрался до стоянки в середине дня. Светлов, закусив, ушёл обратно за вещами Ветрина. Его больше всего интересовали продукты и образцы горных пород. Перед уходом он велел Ветрину, как только стемнеет, разжечь поярче костёр, чтобы не плутать в темноте. Ветрин обещал, но едва лишь Светлов скрылся из виду, он, пригравшись на солнышке и чувствуя себя бесконечно измученным болью и бессонницей, заснул.

Проснулся он от пинка ногой в бок. Была глубокая ночь. Над ним стоял разъярённый Светлов и костыл* его так, что с Ветрина моментально слетели остатки сна.

— Ещё раз такую штуку устроишь, брошу тебя к черту! — кричал Светлов на весь лес. — Для него, негодяя, стараются, а он огонь поддержать не может!

— Ну, брось, брось, — вскипел Ветрин. — Заснул — и всё тут. С тобой греха не случилось?

— Я тебе покажу грехи, суйки ты сын, я тебе покажу!

Остаток ночи Ветрин не спал и твёрдо решил сделать костыли и обойтись без помощи Светлова. Он так и сказал ему утром, когда они позавтракали.

able glade, carried Vetrin to it and built a fire. They had no utensils or food with them except for three rusks and four lumps of sugar in Svetlov's haversack, which he had taken with him just in case. Svetlov carefully divided the rusks and sugar in two halves and silently held out one to Vetrin. The latter took it just as silently and began to eat, yearning for a mug of water. The river flowed within a few steps of the fire, but still he could not make up his mind to ask Svetlov to bring him even a little water, and Svetlov finished his rusks and sugar, lay on his side and instantly fell asleep.

Vetrin could not get to sleep, no matter how he tried. His disturbed leg ached badly, but a sense of shame tortured him perhaps still more. "It would have been a different matter if something had happened to Svetlov and I had rescued him," he thought gloomily. The damp chilly night air crept under his shirt and, shivering, he moved nearer to the fire. Still he could not sleep the whole night and only just before daybreak did he doze off for a short time, but Svetlov almost immediately woke him up.

They reached camp towards midday. Svetlov had a bite and went back for Vetrin's things. He was interested most of all in the victuals and rock samples. Before leaving he told Vetrin to light a bright fire as soon as it got dark so that he would not go astray in the darkness. Vetrin promised, but Svetlov was scarcely out of sight when he fell asleep, warmed by the sun and feeling completely worn by pain and sleeplessness.

He woke up from a kick in the side. It was pitch dark. Over him stood the enraged Svetlov, swearing at him in such a way that Vetrin's sleepiness vanished instantly.

"Another trick like that and you can go to the devil!" Svetlov shouted at the top of his voice. "You do all you can for the rascal and he can't even keep the fire going!"

"Now stop it, stop it!" Vetrin flared up. "I fell asleep, that's all. Have you never done anything wrong?"

"I'll give you wrong, you son of a bitch! I'll show you!"

The rest of the night Vetrin did not sleep. He firmly made up his mind to make crutches and do without Svetlov's help. He told Svetlov so the next morning when they had finished breakfast.

— Делай, — ответил Светлов, даже не посмотрев в его сторону. Ветрин принялся ножом срезать лиственницу, но Светлов молча срубил ему четыре деревца. Ветрину осталось только очистить их от коры и сучьев. Пока он мастерил костыли, Светлов разбирал свой и его багаж, откладывая в сторону всё лишнее. Но лишнего оказалось очень мало и груза в общей сложности набралось около двух пудов.

Покончив с отбором, Светлов подсчитал остатки продовольствия и обнаружил, что в рюкзаке у Ветрина меньше еды, чем он рассчитывал.

— Маловато я взял, — признался Ветрин, вызвав новый взрыв ярости у Светлова.

— Что же, мне тебя на иждивение * брать? У меня у самого еды в обрез! А на двоих нам просто не хватит.

Что мог ответить Ветрин? Да, он опять провинился. Он меньше, чем следовало, взял с собой провизии, иной раз выбрасывал утром остатки ужина. Теперь ему приходилось молчать.

К полудню он сделал один костыль, а освободившийся Светлов помог докончить второй. Но костыли не оправдали надежд. Не умея обращаться с ними и боясь задеть вытянутую ногу, Ветрин продвигался вперед так медленно, что Светлов, погрузивший на себя оба рюкзака, в конце концов снова сбросил их на землю и задумался, покусывая стебелек.

Ветрин, с трудом опустившись на землю, тоже сел, прислонясь спиной к стволу лиственницы и беспомощно вытянув ногу. На лбу и на висках у него виднелись капли пота. Встретившись глазами со Светловым, он виновато улыбнулся.

— Да... — ни к кому не обращаясь, сказал Светлов и, взяв топор, ушел к реке.

Вскоре до Ветрина донесли удары топора, а минут через двадцать Светлов вернулся, таща за собой несколько срубленных ёлок. Он ничего не объяснил Ветрину, но тот и сам понял, что Светлов собирается сделать волокушу. Он смастерил её, на вид очень удобную, с толстой подстилкой из еловых веток, и прикрыл сверху плас-палаткой. Между «оглоблями» — концами двух ёлок — он укрепил ремень, надевавшийся на плечи.

На следующее утро Светлов уложил Ветрина на воло-

“Go ahead,” said Svetlov, without so much as glancing at him. Vetrin began cutting off a larch with his knife, but Svetlov without a word cut down four young trees for him. Vetrin had only to trim and bark them. While he was fashioning his crutches Svetlov sorted out their things, discarding everything which was not indispensable. But it turned out that very little was unnecessary and the total weight left was almost two poods.

Having finished his sorting, Svetlov took stock of the remaining food and found that there was less in Vetrin's rucksack than he had expected.

“I didn't take quite enough,” Vetrin admitted, thus provoking another outburst of rage from Svetlov.

“Well, must I feed you now? I've got hardly enough for myself. It's just not enough for two!”

What could Vetrin answer? It was his fault again. He had taken less provisions than he should have and had sometimes thrown away in the morning what was left over from supper. Now he could only remain silent.

By midday he had made one crutch and Svetlov, now no longer busy, helped him to finish the second. But the crutches did not justify his hopes. Not knowing how to use them and being afraid to hurt his leg, Vetrin progressed so slowly that in the end Svetlov, who had been carrying the two rucksacks, flung them down and started thinking hard, biting a stalk.

Vetrin also sat down with difficulty on the ground, leaning his back against the trunk of a larch and stretching out his helpless legs. Drops of sweat stood out on his forehead and temples. Catching Svetlov's gaze he smiled guiltily.

“Ye—es....” said Svetlov, to nobody in particular, and taking an axe he went down to the river.

Soon Vetrin heard axe blows, and in about twenty minutes Svetlov came back, dragging behind him a few firs he had cut down. He gave no explanation, but Vetrin guessed that he intended to make a drag. When finished, the drag looked very comfortable with its thick bedding of fir branches and the cape for a cover. Between the ends of the two firs serving as shafts Svetlov fastened a strap to go over his shoulders.

The next morning Svetlov laid Vetrin on the drag, placed

кúшу, устрóбил рядом с ним рюкзаки и двинулся вниз по рекé. К счастью, в верхóвье доли́на Би́и была доста́точно широ́кой, местáми безлэсной, и Светлóв сравнительно быстро тащил волоку́шу. То пробира́ясь сквозь молодóу поросль лиственниц, то увязáя в небольшо́х болóтцах, то остóрожно перебира́ясь чéрез рóсыпи камнéй, он, хотя́ и устáл до предéла, прошёл за день не мéнее десяти́ киломétrов. С большо́м трудóм ему́ удалòсь застáвить себя́ разжéчь костёр, устрóбить тагáн. Потóм он лёг на волоку́шу и закры́л глаза́, а Вéтрин, располо́жившись у сáмого огня́, взял на себя́ заботу́ о кострé и котелкé, в котóром варился суп из пшенá; от кáши им пришлòсь срáзу же отказáться, чтóбы экóномнее расхóдовать крупú.

Светлóв лежал, пригрéвшись у кострá, и думáл. Он думáл о слóжности жízни, о почти́ невероятных сплетéниях обстоя́тельств, думáл о Сóне. Мог ли он предполо́жить, что когда́-нибудь ему́ придётсá вот так, почти́ на руках, по горáм, сквозь тайгú, выбивáясь из сил, тащить Сóниного́ мúжа? Он усмехну́лся и, не открывáя глаз, постарáлся представити́ себе́, как отнесётсá Сóня к этóму собы́тию, когда́ всё узнаёт и увидит их вдвоём. Он представил Сóню так я́сно, слóвно она́ была́ тут, рядом, и улыбу́лся ей, ужé совершенно́ не сердя́сь почему́-то ни на неё, ни на этóго мальчи́шку Вéтрина, котóрый ворошит пáлкой костёр, гóтвя ўжин. Да, инóй раз всё удивительно́ слóжно переплетáется в жízни. Когда́-то их отношéния с Сóней казáлись ему́ óчень простыми́ и я́сными. Он припомина́л пёрвые встрéчи с ней, пёрвые, ещё́ рóбкие, полунамёками, разговоры́* о любви́, припомина́л, как она́ мéдленно, с óпаской шла́ ему́ навстрéчу и как однáжды он óбнял и поцеловáл её, а она́ спря́тала лицó от него́ у него́ же на груди́ и он слы́шал её дыхáние — глубóкое и нерóвное. Да, он любил её тогда́, любил пóздней, нелёгкой любовью́. Он и сейчáс любил её и дорожил воспоминáниями о ней, как сáмым большо́м сокрови́щем своéй души́. И, вероятно́, он мог бы всё простити́ ей. Тóлько она́ никогдá не попрóсит у него́ прощéния, потому́ что любит или́ думáет, что любит, вот этóго мальчи́шку, ползáющего вокрúг кострá.

— Суп гóтов, — сказáл Вéтрин.

Светлóву не хотéлось возвращáться к действитель-

the rucksacks beside him, and started downwards along the river. The valley of the upper Biya was fortunately wide enough and in places woodless, so that Svetlov could pull the drag along fairly fast. He had to struggle through larch underwoods, wade small bogs, or carefully pick his way over debris. By the end of the day he was completely exhausted, but he had covered no less than ten kilometres. It cost him a great effort to make himself light a fire and set up a trivet. Then he lay down on the drag and closed his eyes while Vetrin, sitting close to the fire, took upon himself the care of the fire and the pot in which millet soup was cooking. They had to renounce the idea of porridge from the outset to save millet.

Svetlov, warmed by the fire, lay thinking how complicated life was with its all but impossible web of coincidences. And he thought of Sonya. Could he have supposed that he would one day have to drag Sonya's husband like that, all but carrying him, through mountains and forests, utterly exhausting himself? He smiled bitterly and without opening his eyes tried to imagine Sonya's reaction when she heard about everything and saw them together. He saw her as vividly as if she had been standing beside him. He smiled at her, somehow no longer feeling at all angry either with her or with that youngster Vetrin who was poking the fire with a stick and getting supper ready. Yes, he thought, sometimes everything in life gets amazingly tangled. There had been a time when his relations with Sonya seemed quite simple and clear. He recalled their first meetings, the timid, veiled hints and talks of love. He remembered how slowly and warily she had responded; how one day he had put his arm round her and kissed her, and how she had hidden her face on his chest and he had heard her breathing deep and unevenly. Yes, he had loved her then, with a belated, strenuous love. He still loved her and cherished the memories of her as the greatest treasure of his heart. He could probably forgive her everything. Only she would never ask his forgiveness, because she loved, or thought she loved that youngster who was crawling about round the fire.

"The soup's ready," Vetrin said.

Svetlov had no wish to come back to reality and for a

ности, и некоторое время он ещё лежал, не открывая глаз. Но потом привстал и, стараясь не смотреть на Ветрина, протянул ему миску.

Ещё три дня тащил Светлов волокушу, тащил то в гору, то под гору, выбиваясь из сил, проклиная всё на свете и прежде всего самого себя и Ветрина. А на четвёртый день, когда они были уже в пути, небо затянуло плотными низкими облаками, и оно стало похоже на гигантскую мокрую простыню, провисшую над горами и вот-вот готовую пролить скопившуюся влагу. Дождь пошёл часов в одиннадцать, мелкий-мелкий, словно просеянный сквозь сито. И потому, что он был очень мелкий, ни Светлов, ни Ветрин не обращали на него внимания и не заметили, как он, всё усиливаясь, намочил их стеганные куртки, открытые головы, и опомнились только тогда, когда холодные струйки потекли за воротник. А затем хлынул ливень, ровный, неудержимый, и тайга наполнилась монотонным шумом дождевых струй, хлещущих по ветвям деревьев.

Не мешало бы остановиться, разбить лагерь и укрыться от дождя, но намочивший Светлов решил, что черт с ним, с дождем, время слишком дорого, и шёл, упрямо склонив лысую голову и скользя кожаными подметками горных ботинок по траве, по осыпавшейся хвое, по камням, шёл тяжело дыша на подъемах и ругаясь, когда на это хватало сил и дыхания. Ветрин прислушивался к его ругани и молчал, хотя промок насквозь, и в глубине души мечтал, чтобы Светлов поскорее изнемог и разбил лагерь.

Часа через два к дождю начали примешиваться серые хлопья снега, а ещё через час дождь окончательно сменился снегом, и тайга, словно напуганная грозным напоминанием о зиме, умолкла и неподвижно застыла. Разгоряченный и мокрый от воды и пота Светлов, не замечая снега, всё так же упрямо шагал вперед, а Ветрин, сидевший без движения, замерзал на волокуше, но по-прежнему молчал, не рискуя вступить в переговоры. Светлов споткнулся, дернул волокушу и упал в снег. Некоторое время он лежал, что-то бормоча полушепотом, но потом поднялся, поправил ремень и пошёл дальше, настойчиво карабкаясь в гору.

Когда у Ветрина не осталось сил терпеть, он запел

time he lay there without opening his eyes. Then he half rose and held out his bowl to Vetrin, trying not to look at him.

For another three days Svetlov pulled the drag, uphill, downhill, wearing himself out, cursing everything in the world, but most of all himself and Vetrin. On the fourth day, when they had already started out, low heavy clouds overcast the sky, making it look like a gigantic wet sheet hanging over the mountains threatening at any moment to spill the moisture accumulated in it. Rain began to fall at about eleven o'clock, an exceedingly fine drizzle that seemed to come down through a sieve. And because it was so very fine neither Svetlov nor Vetrin heeded it or noticed how it kept on getting heavier and drenched their quilted jackets and bare heads. They became alive to reality only when cold streams trickled down their necks. Then came a heavy downpour, steady and overwhelming, and the taiga was filled with the monotonous swish of rainstreams lashing at the trees.

They should have stopped and set up camp to shelter from the rain, but Svetlov, drenched as he was, decided that the rain could go hang, time was too precious. He trudged on, his bald head bent obstinately down, the leather soles of his mountain boots slipping on the grass, fallen fir needles and stones. He went on, panting heavily when going uphill, and swearing when he had enough strength and breath for it. Vetrin listened to his abuse without saying anything, even though he was wet through and wished at the bottom of his heart that Svetlov would soon tire out and pitch camp.

Some two hours later grey snowflakes began to mingle with the rain, and in another hour the rain was finally replaced by snow. The taiga, as though cowed by this menacing reminder of winter, became hushed and still. Hot and wet with rain and sweat, Svetlov did not notice the snow, but plodded on as stubbornly as ever. Vetrin sat motionless and freezing on the drag in silence, not risking to enter into negotiations. Svetlov tripped, jerked the drag and fell into the snow. He lay for a while, muttering under his breath, but then rose, straightened the strap and went on, climbing tenaciously uphill.

When Vetrin could bear it no longer, he struck up in a

слабым, заунывным голосом: «Легко на сердце от песни весёлой...»* и Светлов, которого это пение раздражало, не обрывал его, понимая, почему он поёт.

Наконец Светлов решил заночевать. Прежде чем заняться устройством лагеря, он развязал свой рюкзак и извлёк оттуда фляжку, которая так ни разу и не пригодилась ему. Взболтув её, чтобы на слух удостовериться, полна ли она, он протянул её Ветрину и сказал:

— Глотни.

Ветрин глотнул и поперхнулся крепким неразведённым спиртом. Подождав, когда он прокашляется, Светлов опять сказал:

— Глотни.

Ветрин сделал большой глоток и сунул в рот пригоршню снега. А Светлов пить не стал. Тщательно закрутив фляжку он ещё раз взболтул её, чтобы определить, насколько уменьшился запас, и спрятал в рюкзак... Потом он взял топор, нарубил сушняк и с помощью бересты разжёг слегка подмокшее дерево. Устроив из плащ-палаток косяк навес над волокушей, отражавший тепло костра прямо на них, он переодёлся в сухое бельё. Ветрин сам переодеться не мог, и Светлову пришлось помочь ему. Он выполнял всё это почти механически, не имея сил ни о чём думать. Он знал, что нужно разжечь костёр, устроить навес и переодеться в сухое, потому что если не сделать всего этого, то в насквозь промокшей одежде им не пережить метельной ночи. И он всё сделал, и даже приготовил запас дров на ночь, а потом лёг на волокушу сзади Ветрина и мгновенно впал в забытье.

Согревшийся и слегка охмелевший Ветрин следил за чайником, шипевшим на костре, и думал о Светлове. Он думал, что Светлов — очень хороший человек и что, конечно, у них всё получилось глупо. Вот если бы он заранее знал, какой Светлов человек, то ни за что бы не стал ухаживать за Соной и ушёл бы от неё, даже если бы любил её так, как любит сейчас. Он нашёл бы силы на это, потому что есть вещи, которые выше самых сильных чувств мужчины к женщине и не могут быть принесены в жертву. Вот такое бескорыстное товарищество, проявившееся в глуши, в тайге, где некому даже оценить его и восхититься им, — разве оно не

feeble, wailing voice: "A merry song brings ease to the heart...." Svetlov was irritated by the song, but he did not try to cut it short, because he knew why Vetrin was singing.

At last Svetlov decided to stop for the night. Before pitching camp he untied his rucksack and took out of it the flask which he had so far had no use for. He shook it to make sure by the sound that it was full, and held it out to Vetrin.

"Take a swig."

Vetrin did and almost choked with the strong undiluted alcohol. Svetlov waited for him to stop coughing.

"Have another," he said then.

Vetrin took a big gulp and thrust a handful of snow into his mouth. But Svetlov did not drink. He carefully screwed the stopper tight, shook the flask again to see by how much their provision had decreased, and put it away in his rucksack. Then he took the axe, chopped some brushwood and with dry birchbark kindled the slightly damp wood. He made a slanting shelter over the drag with his cape to throw back the heat of the fire on to them and changed into dry underwear. Vetrin could not change alone and Svetlov had to help him. All this he did almost mechanically, hardly having strength enough for thought. He knew he had to light a fire, make a shelter and change into dry clothes, because if they did not do all that they would not survive the stormy night in their soaked clothing. And so he did everything and even stored up some firewood for the night. Then he lay down on the drag behind Vetrin and instantly fell asleep.

Vetrin, feeling warm and slightly tipsy, watched the tea-kettle singing on the fire and thought of Svetlov. It seemed to him that Svetlov was a very fine chap and that things had worked out very foolishly between them. If he had known before what kind of a man Svetlov was, he would not for all the world have courted Sonya. He would have kept away from her, even if he had loved her as he did now. He would have found the strength to do that, because there are things which are superior to the strongest feelings a man may have for a woman and which must not be sacrificed. Was not this unselfish comradeship, which had come out deep in the taiga, where there was nobody to appreciate and admire it, supe-

выше, не человечней самой пылкой любви?.. И Ветрину казалось, что выше, значительно выше и человечней, и он клялся себе, что никогда в жизни не забудет об этих днях и обязательно всё до мельчайших подробностей расскажет Соне, расскажет честно, ничего не скрывая, и заставит её восхищаться Светловым, его подвигом.

А потом ему представилось, что через три или четыре года, а может быть и через десять лет, они снова встретятся в экспедиции со Светловым и снова вот так же, как в этот раз, уйдут в тайгу и что-нибудь случится со Светловым — сорвется со скалы или на него свалится обломок, а он, Ветрин, найдя его беспомощным, погибшим, вынесет на руках. Только он будет относиться к нему ещё лучше и не станет кричать и ругаться, как это сейчас делает Светлов, потому что он понимает, что с каждым может случиться несчастье. Он видел себя измученным и изможденным, входящим со Светловым на руках в деревню, видел, как выбегают ему навстречу жители, товарищи по экспедиции — и среди них Соня — и как все восхищаются его подвигом, жмут руки, поздравляют. И сам Светлов, оправившийся после падения, подаёт ему руку и дружески улыбается, улыбается, но не благодарит, потому что они оба знают, что такое настоящее товарищество, знают, что оно не нуждается в благодарности...

Чайник вскипел и пролился на громко зашипевшие угли. Ветрин снял его с тагана и заварил. Когда чай настоялся, он бросил в кружку Светлова полторы порции сахара, оставив себе всего один кусочек, налил ему чаю и разбудил. Светлов, оставаясь в полузабытьи, выпил кружку чаю и тотчас уснул. А Ветрин спал урывками и всё время следил за костром.

К утру их вещи не успели просохнуть, и им пришлось повременить с выходом в путь: при такой погоде всегда нужно иметь в запасе смену белья.

Тайга, пригнувшаяся под тяжестью снега, казалась ниже, чем вчера, но гуще и непроходимее. Пни, поваленные деревья, бурелом превратились в сугробы, а снег всё шёл и шёл, и был он таким густым, что небо, не выдержав его тяжести, спустилось к самой земле, к вер-

rior to and more humane than the most ardent love? Vetrin believed it was superior, far superior and more human, and he swore never in his whole life to forget these days, and to tell Sonya everything down to the slightest detail, honestly and without concealing anything, and to make her admire Svetlov and his feat.

And then he imagined how in three or four, or maybe even ten years, he would meet Svetlov again on an expedition. They would go into the taiga again just as they had done this time, and something would happen to Svetlov—he would fall over a cliff or a rock would drop on him and he, Vetrin, would find him helpless and dying and would carry him in his arms. Only he would treat Svetlov better and would not shout and swear as Svetlov did this time, because he would realize that an accident can happen to anybody. He saw himself, worn out and emaciated, entering a village carrying Svetlov in his arms. He saw the inhabitants and his expedition comrades, Sonya among them, running out to meet him. They were all full of admiration for his feat, they shook hands with him and congratulated him. And Svetlov himself, having recovered after his fall, stretched out his hand, smiling friendly, but not thanking him, for they both knew what real comradeship was, they knew that it needed no gratitude.

The kettle boiled and spilled over on the embers, which sizzled loudly. Vetrin took it off the trivet and made tea. When the tea had stood long enough, he put one and a half portions of sugar in Svetlov's mug, leaving only one for himself, poured out tea for Svetlov and woke him up. Svetlov, still half asleep, drank his mug of tea and immediately fell off again. As for Vetrin, he slept by snatches, looking after the fire all the time.

Their clothes were not dry by morning and they had to put off their start, for in weather like that one must always have a spare set of underwear.

The taiga, weighed down by the snow, seemed lower than the day before, but denser and still more difficult to pass. Stumps and windfallen trees had turned into snowdrifts, and it still continued to snow so heavily that the sky, unable to bear its weight, sank towards the earth, to the

шинам лиственниц и кедров. Снег не падал с высоты, он словно возникал из воздуха тут же, рядом, и, пролетев несколько метров, плавно опускался на землю или на ветви деревьев. Да, всё было придавлено, приглушено снегом, и только река, ставшая такой чёрной, что будто за ночь в воду добавили сажи, по-прежнему стремительно мчалась меж белых пуховых берегов, и снежинки, падавшие в чернильную воду, бесследно исчезали в ней. С этой рекой были связаны все их надежды. Река текла на юг, к людям, она могла вынести их к селениям, но для этого нужно было спешить воспользоваться её непокорённой мощью, потому что как ни велика эта мощь, но однажды зима сломит её, и река покорится, и тогда у них почти не останется надежды на спасение. А до притока Улук, ниже которого по Бию можно плыть на плоту, оставалось всё ещё около сотни километров.

Завтрак не насытил ни Светлова, ни Ветрина: еду приходилось экономить, и они резко уменьшили дневной рацион. Теперь, при строгом нормировании сахара, у них в неограниченном количестве был только горячий чай, и они выпивали его по несколько кружек утром и вечером.

К полудню небо поднялось выше, просветлело и снег перестал идти. На кедрах кричали сойки, предвещая улучшение погоды. Светлов надёл лямку на плечи, и они двинулись дальше и шли до вечера, оставляя на снежной целине широкий и глубокий след.

На следующий день пришлось переправляться через реку. Бия, сделав гигантскую петлю, прижалась вплотную к левому борту долины, и Светлов не нашёл прохода. Один он мог перейти по выступающим из воды валунам, прыгая с одного на другой, но с Ветриным на плечах это сделать было невозможно. Пришлось раздеваться догола и, борясь с течением, местами погружаясь до пояса в ледяную воду, несколько раз переходить реку туда и обратно с грузом на плечах. После первой же переправы Светлов в кровь сбил ноги о скользкие острые камни под водой. Он едва успевал отогреться между переправами. Ветрин всё ждал, что он начнёт ругать его, и готовился стойчески выдержать самые оскорбительные выпады, но Светлов за день не сказал ни

larch and cedar tops. Instead of falling from above, the snow seemed to arise out of the air just overhead, floated a few metres and then dropped smoothly to the ground or the branches of the trees. Everything was weighed down and muffled by the snow. Only the river, now as dark as though soot had been added to the water during the night, still rushed on impetuously between its white downy banks, and the snowflakes, falling on the inky water, disappeared in it without leaving a trace. All the men's hopes were linked with the river. It flowed southwards, to where there were people, it would carry them to the settlements. But they had to make haste in using its unsubdued power, for great as that power was, the winter would break it one day, the river would submit, and there would scarcely be any hope of rescue for them. And it was still nearly a hundred kilometres to its tributary the Uluk, below which they could go down the Biya by raft.

The breakfast did not satisfy either Svetlov or Vetrin. They had to make the food last and had drastically cut their daily ration. Now, with sugar strictly rationed, hot tea was all they had plenty of, and they drank several mugs morning and evening.

By noon the sky lifted and cleared and it stopped snowing. Jays chattered in the cedars, heralding an improvement in the weather. Svetlov harnessed himself to the drag and they started out. They went on until evening, leaving a broad deep track in the virgin snow.

The next day they had to cross the river. The Biya described a huge loop, hugging the left rim of the valley, and Svetlov found no passage. Alone he could have crossed on the boulders which jutted out of the water, jumping from one to another, but it was impossible for him to do that with Vetrin on his shoulders. He had to strip and cross to the other bank and back several times, with a load strapped to his shoulders, wrestling with the current and occasionally sinking waist-deep in the icy water. During the very first crossing he cut his feet badly on the jagged slippery underwater stones. He scarcely managed to get warm between trips. All the time Vetrin was expecting Svetlov to start swearing at him, and he braced himself to bear the most insulting attacks with stoicism. But Svetlov did not say a word the

слова, и это подействовало на Ветрина хуже самой отборной брани.

Вскоре стало сказываться недоедание. Днём Светлов всё чаще останавливался на отдых, постепенно изменяя своему принципу: длинный переход — длительный отдых. Теперь они проходили за день не более пяти-семи километров, хотя Светлов старался как мог. По утрам и он и Ветрин часто просыпались позже положенного срока, и сон их был тяжёл и глубок, как обморок.

Однажды во время крутого подъёма у Светлова закружилась голова, перед глазами замелькали тёмные круги, и он сел на снег.

Вечером Ветрин, по обыкновению исполнявший обязанности повара, разделил жидкий рисовый суп не пополам, а на три части и две из них отдал Светлову.

— Не валяй дурака, — лаконично сказал тот, отставляя котелок. Но Ветрин решения своего не изменил, и Светлов, после трезвых размышлений решивший, что это, пожалуй, справедливо, съел суп. С этого дня Ветрин так и делил еду: себе брал одну треть, а Светлову отдавал две трети. В пути он сидел с заряженным дробовиком, надеясь что-нибудь подстрелить, но ему лишь один раз удалось сбить на лету двух кедровок. Вечером он сам ошпарил их и сварил, и они тщательно обглодали тоненькие птички косточки. В другой раз, в пепельных предраассветных сумерках, совсем близко на дереве села большая птица. Не спавший Ветрин схватил ружье и выстрелил дуплетом. Птица, шумно трепыхнувшись, тяжело свалилась на землю.

— Тетерев! — в восторге крикнул он в лицо подскочившему от грохота выстрелов Светлову.

— Сам ты тетерев, — недовольным тоном спросонья ответил тот. — Глухарь, должно быть!

Птица действительно оказалась глухарём, и в дороге, сидя на волокуше, Ветрин ошпаривал птицу не без чувства гордости. Но охота редко бывала удачной: стрелять на ходу трудно, а специально охотиться Светлов не соглашался — дорожил временем.

После нескольких солнечных дней снег почти совсем сошёл, и лишь в сильно затенённых местах, на северных склонах да за крупными валунами ещё виднелись его сизо-белые пятна. Но обольщаться* временным улучше-

whole day, and this had a worse effect on Vetrin than the vilest abuse.

Undernourishment soon began to make itself felt. In the daytime Svetlov stopped more and more often to rest, gradually abandoning his principle—a long march, then a long rest. Now they did not cover more than five or seven kilometres a day, although Svetlov was doing his utmost. In the morning both he and Vetrin often woke up later than required, after a sleep that was heavy and deep like a dead faint.

One day, during a steep climb, Svetlov felt dizzy, dark circles flashed before his eyes and he dropped down on the snow.

In the evening, Vetrin, who was doing the duties of cook as usual, divided the watery rice soup into three parts instead of two, and gave two parts to Svetlov.

“Don’t be an ass,” Svetlov said laconically, pushing the mess-tin aside. But Vetrin would not change his decision and Svetlov, who, on sober consideration found that this was fair, ate the soup. From that day on Vetrin continued to divide the food in the same way, taking a third part himself and giving Svetlov two thirds. On the march he sat with the shotgun loaded, hoping to shoot something, but only on one occasion did he manage to drop two nutcrackers on the wing. In the evening he plucked and boiled them and they picked the thin bones clean. On another occasion, in the ash-grey twilight before dawn, a large bird settled on a tree quite near. Vetrin, who had not been sleeping, seized the gun and fired a double shot. The bird fluttered noisily and dropped heavily to the ground.

“A black grouse!” Vetrin shouted with delight to Svetlov, who had jumped up at the roar of the shots.

“Black grouse yourself,” he grumbled sleepily. “Must be a wood grouse.”

It was indeed a wood grouse, and Vetrin, riding on the drag, plucked the bird, not without a feeling of pride. But seldom was their shooting successful. It was hard to hit a bird while in motion, and Svetlov said time was too precious to spend specially on shooting.

After a few sunny days the snow had almost disappeared and greyish-white patches could be seen only in more shady places, on the northern slopes and behind large boulders. But they were not deluded by this temporary improvement

нием погоды не приходилось: зима, отступив на вершины гор, копила там силы, и каждый день могли снова задуть зимние ветры и надолго прогнать остатки тепла. Тайга уже приготовилась к зиме: облетела желтая хвоя с лиственниц, и оголенные деревья стояли, задрвав кверху черные тощие ветви с маленькими круглыми шишками. Ветрину иногда казалось, что они идут по безжизненной гари, которой нет и не будет конца.

Погода действительно изменилась через несколько дней. Небо затянуло плотными дымчато-серыми облаками, температура упала ниже нуля, и тоненькая кромка льда на реке обламывалась, но не таяла.

Ни Светлов, ни Ветрин не смотрелись в зеркало и не обращали внимания на внешность друг друга, но изменились они оба до неузнаваемости. Похудевшие, с ввалившимися глазами и щеками, заросшие длинной щетиной, в оборванной одежде, с неестественно замедленными движениями, раздражительные до предела и уставшие настолько, что за ночь не успевали отдохнуть, они производили впечатление бродяг, по меньшей мере год не видевших крыши над головой. Теперь они очень часто ссорились, ссорились из-за каждого пустяка и подолгу кричали друг на друга, тяжело дыша и глотая воздух.

Светлов задумал сам охотиться к тому времени, когда Ветрин израсходовал почти все заряды. Увидев два последних заряженных патрона, Светлов раскричался, и у них произошёл очередной скандал, так ничем и не кончившийся, как ничем не кончалось большинство их ссор. С помощью этих двух патронов Светлов добыл двух белок; когда проходил через кедровый лес. Белок они съели вечером на привале, а на следующий день Светлову удалось накинуть петлю на шею чересчур любопытному каменному рябчику — «дикушке». Немного потрепавшись, рябчик тоже попал в котелок; но вся эта дополнительная еда не могла восстановить их сил.

Они были в десяти-двенадцати километрах от устья Улука, когда началась очередная метель. Сухая, колбачая снежная крупя, гонимая сильным, пронизывающим ветром, ранила им лица с обветренной кожей, слепила глаза, встречный ветер почти не давал двигаться

in the weather. The winter, having withdrawn to the mountain tops, was gathering its strength there and any day cold winds might blow again and drive away for a long time the remnants of warmth. The taiga had already prepared for winter. The larch trees had shed their yellow needles and stood bare, lifting in the air their dark, lean boughs with the small round cones. Vetrin sometimes had the impression that they were travelling through a lifeless burnt-out forest that would never end.

The weather did indeed change after a few days. The sky became overcast with dense smoke-grey clouds, the temperature dropped below freezing point and the thin crust of ice on the river, though brittle, did not melt.

Neither Svetlov nor Vetrin used a mirror or paid any attention to the other's looks. Both had changed beyond recognition. Thin, with sunken eyes and hollow cheeks, covered with bristly beards, their clothes torn, their movements unnaturally slow, irritable in the extreme and so tired that the night was not long enough for them to rest, they looked like tramps who had not had a roof over their heads for at least a year. Now they very often quarrelled over any trifle, going on shouting at each other for a long time, breathing heavily and gasping for air.

Svetlov got the idea of going shooting himself just when Vetrin had spent nearly all the shot and powder. Seeing the last two cartridges, he began to shout, and they had another row which, like most of their quarrels, got them nowhere. With the two cartridges Svetlov shot two squirrels as he was passing through a cedar wood. They ate them in the evening at their halt and on the next day Svetlov succeeded in throwing a noose over the head of a too-inquisitive hazel grouse. After fluttering a while the bird also ended up in the pot. But all this extra food was insufficient to restore their energy.

They were about ten or twelve kilometres from the mouth of the Uluk when the next blizzard began. Dry, prickling frozen snow driven by a violent, piercing wind lashed their chapped faces and blinded them, while a head-on wind scarcely permitted any progress. After two hours' fruitless

вперёд. После двух часов бесплодной борьбы обессиленный Светлов упал на снег. Ветрин подполз к нему, чтобы чем-нибудь помочь, но Светлов, увидев его, затрясся и, грозя ему кулаком, закричал, что это он, Ветрин, во всём виноват, что он негодяй, которого давно пора бросить в тайгу. Потом он помянул Сонию и, окончательно потеряв самообладание, срывающимся голосом прокричал, что он больше не намерен тащить его к ней на своём горбу.*

Ветрин не выдержал:

— Замолчи! — на визгливой ноте выкрикнул он. — Замолчи говорю! — и, схватив пригоршню снега и хвоби, швырнул в Светлова, но тот в ответ лишь расхохотался. Тогда Ветрин уполз к волокуше, надел на себя всё своё снаряжение и запыгал на костылях вперёд. Ярость придавала ему силы, и он быстро удалялся, а вслед ему несся злой хохот Светлова.

Но как только Ветрин скрылся за деревьями, Светлов перестал хохотать. Некоторое время он тупо смотрел в ту сторону, где скрылся Ветрин, а потом поднялся и потащил непривычно лёгкую волокушу по его следам. Метров через сто Светлов увидел на снегу ружьё, брошенное Ветриным, но не поднял его, — зачем тащить лишнюю тяжесть? Ещё через сто метров валялся геологический молоток, и Светлов его тоже не поднял, но, наткнувшись на топор, он подумал о Ветрине: «Дурак, без топора в тайге пропадёшь», — и бросил топор на волокушу. Ему хотелось узнать, бросит ли Ветрин рюкзак с образцами и полевую сумку с дневниками, и он даже ускорил шаг или, по крайней мере, постарался ускорить. Пройдя ещё метров двести, он наткнулся на самого Ветрина. Тот сидел, прислонившись спиной к поваленному дереву, и глаза его были закрыты, а губы закусены. Светлов посмотрел на его вытянутую сломанную ногу и по следам понял, что он задел её за пень.

— Вот что, — тихо, почти ласково сказал Светлов, трогая Ветрина за плечо, — время дорого, ложись на волокушу.

Он помог ему подняться и лечь и сам устроил вещи так, чтобы они не сползали при движении.

Поздно вечером, когда они сидели в защищённом от

struggle Svetlov collapsed on the snow. Vetrin crawled to him to give whatever help he could, but Svetlov was shaken with rage, shook his fist at him and shouted that he, Vetrin, was to blame for it all, that he was a rascal who should have been abandoned long ago in the taiga. Then he remembered Sonya and, losing his self-control altogether, screamed in a breaking voice that he no longer intended to carry him to her on his back.

Vetrin could not restrain himself.

“Shut up!” he shouted in a falsetto. “Shut up, I tell you!” And seizing a handful of snow and larch needles he flung it at Svetlov, but the latter’s only response was to burst out laughing. Then Vetrin crawled to the drag, put on all his equipment and started hobbling forward on his crutches. His fury lent him strength and he moved away fast, followed only by Svetlov’s spiteful laughter.

But the moment Vetrin disappeared behind the trees Svetlov stopped laughing. For a while he stared dully in the direction in which Vetrin had disappeared, then he rose and started to pull the unusually light drag in Vetrin’s tracks. After a hundred metres he saw on the snow the shotgun thrown away by Vetrin, but he did not pick it up—why carry a useless burden? Another hundred metres farther on lay Vetrin’s hammer and Svetlov did not pick that up either. But when he came on the axe it occurred to him that Vetrin was a fool, that without an axe he would perish in the taiga, and he threw it on to the drag. He was wondering whether Vetrin would throw away his rucksack containing the samples and his mapcase with his field diaries. He even hastened his step, or at least tried to. After going another two hundred metres he came on Vetrin himself. The latter was sitting with his back against a fallen tree and his eyes were closed, his lips pressed together. Svetlov glanced at Vetrin’s outstretched broken leg. By the footprints he knew that he had knocked it against a stump.

“Look,” he said softly, almost gently, touching Vetrin’s shoulder, “time is precious, lie down on the drag.”

He helped him to rise and lie on the drag and himself arranged the things so that they would not slip off when the drag moved.

Late that evening, when they were sitting in a spot

вѣтра мѣсте и грѣлись у костра, Вѣтрин открыл полевую сумку и достал из нее нетронутую плитку шоколада. Эту плитку положила ему в сумку Соня перед самым выходом в маршрут.

— Возьми, — сказал он Светлову, — съешь.

Светлов осторожно развернул плитку.

— Ешь всю.

Но Светлов покачал головой.

— Я хочу довести тебя живым до Кировского. Иначе вся эта эпопея потеряет смысл.

Он разломил шоколад и вернул половину плитки.

А на следующий день они миновали устье Улука и, войдя к реке, долго смотрели на черную воду и измеряли глазами ширину заберегов, которые с двух сторон ледяными тисками нажимали на быструю живую воду и грозили сомкнуться не позднее, чем через неделю-полторы.

— Успеем, — решил Светлов.

Два дня Светлов валил деревья, а Вѣтрин очищал их от сучьев. Потом они связали бревна лозняком, и плот получился таким большим и тяжелым, что они едва могли сдвинуть его с места.

— Хороший плот, — сказал Светлов и, немного подумав, добавил: — В низовьях Оби ханты называют такие плоты «матками».

Утром, перед отплытием, перекладывая свое имущество, Светлов извлек из мешочка камень и протянул его Вѣтрину, предварительно смочив водой.

— Красивый?

Вѣтрин осторожно взял камень в руку и долго рассматривал его гладкую поверхность, на которой нежно-фиолетовые, с синеватым оттенком полбски чередовались с синевато-серыми и палевыми полбсками.

— Сапфирин?

— Сапфирин! — обрадовался Светлов. — Хорошо, правда?

Он аккуратно убрал свою драгоценность в мешочек и увязал вещи на плоту. Действуя шестом, как рычагом, он пододвинул плот к самой реке, и передний край его лег на лёд.

— Садись, — распорядился Светлов и, когда Вѣтрин уселся, стал осторожно продвигать плот дальше. Не-

sheltered from the wind, warming themselves at the fire, Vetrin opened his mapcase and took out an untouched bar of chocolate. It was Sonya who had put it in his case just before he set out.

"Here," he said to Svetlov, "eat it."

Svetlov cautiously unwrapped the chocolate.

"Eat it all."

Svetlov shook his head.

"I want to get you to Kirovskoye alive, or else this epic of ours will be pointless."

He broke the bar in two and gave half of it back.

The next day they passed the mouth of the Uluk and, going down to the river, scanned the black water for a long time, gauging the width of the ice-crust along the banks which held the swift-flowing water in an icy vice, threatening to close in a week or ten days.

"We'll make it," Svetlov decided.

For two days Svetlov felled trees and Vetrin lopped off the branches. Then they bound the logs together with willow withes and the resulting raft was so large and heavy that they had difficulty in moving it in.

"A fine raft," Svetlov said. After a while he added. "The kind of raft the Khanti on the lower Ob call a *matka*."

In the morning before starting out, Svetlov took a piece of rock out of a small bag and, dipping it in the water, handed it to Vetrin.

"Beautiful, isn't it?"

Vetrin took the stone and examined its smooth surface, on which streaks of delicate violet with a touch of blue alternated with greyish-blue and pale-yellow.

"Sapphirine, is it?"

"Yes," Svetlov answered, happily. "Fine, isn't it?"

He carefully put his treasure away in the bag and fastened the things on the raft. Using a pole as a lever he moved the raft down to the river until its front edge came to lie on the ice.

"Get on," Svetlov ordered, and when Vetrin had sat down he began cautiously to move the raft forward. The still thin

окрепший лёд прогнулся, затрещал, и Светлов, оттолкнувшись последним раз, прыгнул на плот, уже закачавшийся на воде среди обломков льда. Чёрные струи подхватили его, повернули разок вокруг оси, но Светлов взялся за рулевое весло, и плот быстро и ровно понёсся вниз по реке.

Светлов не доверял управлению плотом Ветрину и почти круглосуточно, изредка засыпая на час-полтора, сидел у рулевого весла. Он плыл по незнакомой реке и не знал, что ждёт его за очередным поворотом: спокойная вода или пороги, водопады, завал из деревьев, лёд... По ночам он напряжённо прислушивался к каждому подозрительному шуму, тщетно вглядываясь в чуть просветлёвшую от снега темноту. По реке уже шло сало,* потом пошла шуга,* плот обмёрз, отяжелел, но по-прежнему стремительно нёсся вниз, к людям.

Сидя у рулевого весла, грея коченеющие руки на груди, Светлов иногда думал о Соне. Он думал о ней спокойно, без волнения, без прежней обиды и без прежней злобы на неё и на Ветрина. Его не интересовало, как он встретится с Сонею. Иной раз он даже немного удивлялся своему равнодушию.

А Ветрин ни о чём не думал. Он просто ждал. Ждал всем своим существом приезда в Кировское, встречи с Сонею, ждал, когда его положат на чистую больничную койку. Он очень боялся пропустить Кировское, и поэтому тоже мало спал, и всё время смотрел вперёд и по сторонам, тщательно сверяя путь с картой.

Наконец впереди, на высоком берегу, показались дома. Это могло быть только Кировское. Светлов подрулил к берегу, и плот тяжело ткнулся в лёд. Они побросали на берег всё имущество, Светлов помог перебраться на лёд Ветрину и прыгнул сам. От толчка плот качнулся и отошёл от кромки льда. Быстрое течение подхватило его и понесло дальше. Светлов проводил плот глазами и сказал:

— Подожди здесь, я пришлю за тобой.

Медленно, тяжело дыша, он поднялся по крутому берегу и остановился на краю яра. Ему навстречу посреди улицы бежала женщина в туфлях на босу ногу. Это была Соня, он узнал её. Наверное, кто-то увидел, что они приехали, и слух об этом уже дошёл до неё.

ice gave way with a crackling and Svetlov, giving the raft a last push off, jumped on as it bobbed on the water amid lumps of ice. The dark stream caught it up and spun it round on its axis, but Svetlov manned the steering oar and the raft sped smoothly downstream.

Svetlov would not trust the steering to Vetrin. He sat at the steering oar day and night, snatching an occasional hour or so of sleep. He was sailing an unfamiliar river and never knew what was in store round the next bend, calm water or rapids, a waterfall, a barrier of fallen trees or ice.... At night he listened intently for any suspicious noise, peering in vain into the darkness slightly brightened by the snow. Now there was sludge flowing downstream, at first thin, then thicker. The raft became encased in ice and heavy, but it still sped down the river to where there were people.

As he sat over the oar, warming his benumbed hands on his chest inside his jacket, Svetlov sometimes thought of Sonya. He thought of her calmly, without agitation or vexation and without his former anger at her and Vetrin. He was not interested in what his meeting with Sonya would be like. Sometimes he was even a little surprised at his indifference.

Vetrin was not thinking of anything. He was just waiting with his whole being for the arrival at Kirovskoye and his meeting with Sonya, waiting to be laid in a clean hospital bed. He was very much afraid of missing Kirovskoye and because of that he also slept little and kept looking ahead and on both sides, carefully checking with the map.

At last houses came into sight on the high bank ahead. It could only be Kirovskoye. Svetlov steered towards the bank and the raft butted heavily into the ice. They threw all their things on to the bank, then Svetlov helped Vetrin to land on the ice and jumped off himself. The jerk rocked the raft and sent it floating away from the ice rim. It was seized by the current and drifted away. Svetlov watched it go and said:

“Wait here, I’ll send for you.”

Slowly, breathing heavily, he climbed the steep bank and stopped on the edge of the crag. A woman was running down the middle of the street to meet him, her feet bare in her shoes. It was Sonya, he recognized her. Probably someone had seen them coming and the rumour of it had reached her.

— Где Саша? — спросила Сônia, и взгляд её скользнул по лицу Светлова, но она не заметила ни его ввалившихся глаз с покрасневшими от бессонницы веками, ни потрескавшейся от ветра и шелушащейся кожи, ни рыжеватой щетины. Светлов не сразу сообразил, что Саша — это Ветрин, а сообразив, махнул рукой вниз. Сônia тихо вскрикнула и помчалась под гору.

Светлов смотрел ей вслед, и она уменьшалась в его глазах гораздо быстрее, чем это положено по оптическим законам, и когда она, наконец, добежала до Ветрина и упала рядом с ним на снег, они оба показались ему такими маленькими, что он никак не мог поверить в их реальность. И ещё ему казалось, что он не имеет к ним никакого отношения, а если и имел когда-то или где-то, то это было либо очень давно во времени, либо очень далеко в пространстве.

Он спокойно отвернулся, поправил привычным движением полевую сумку и пошёл нетвёрдым шагом по широкой деревенской улице навстречу спешащим к нему товарищам.

1956

“Where is Sasha?” Sonya asked, and her gaze skimmed over Svetlov’s face, but she did not notice his sunken eyes with their lids red with sleeplessness, the wind-chapped, peeling skin, the reddish growth of beard. Svetlov did not realize at once that Sasha was Vetrin’s first name, but when he did he waved his hand down in the direction of the bank. Sonya gave a low cry and rushed downhill.

Svetlov watched her and she shrank in size much faster than she should have done according to the laws of optics. When at length she reached Vetrin and fell down beside him on the snow, they both seemed so small to Svetlov that he could not believe they were real. It also seemed to him that he had nothing whatever to do with them and if he ever had, at any time, anywhere, it must have been either a long, long time ago or in some far, far off place.

He turned away calmly, straightened his mapcase with a mechanical movement and started with unsteady steps up the broad village street to his comrades, who were hurrying out to meet him.

1956

VALENTIN KATAYEV

Valentin Katayev was born in Odessa in 1897. In his youth he wrote poems which he published in illustrated magazines in Odessa and Petersburg. In 1915, he volunteered for the front and served in the artillery. While in the army he worked as a war correspondent. In 1918-20 he fought in the Ukraine in the ranks of the Red Army. In 1922, Katayev came to Moscow and turned his hand to literature. The first work that brought him renown was the satirical novel *The Embuzzlers*, 1926. In 1928, he wrote the play *Squaring the Circle*, which soon became known in almost every country in the world. Since 1928 Katayev has been writing plays. His subsequent works—the chronicle *Time, Forward!*, 1932, the material for which he collected at the construction site of the Magnitogorsk Metallurgical Centre, the novel for children *Lonely White Sail*, 1936, and the short novel *I am a Son of the Working People*, 1937—all testify to the writer's artistic skill. In those years Katayev contributed satire, feature-stories and articles to the *Pravda*. During the Great Patriotic War, Katayev was a war correspondent of the *Pravda* and *Krasnaya Zvezda (Red Star)*. At the same time he wrote the stories *The Third Tank*, *The Flag* and the short novel *The Son of the Regiment*. In 1949, his novel *For the Power of the Soviets* was published, and in 1956 the novel *The Small Farm in the Steppe*, followed in 1966-67 by two autobiographical stories: *The Sacred Well* and *Herb of Forgetfulness* and in 1967 by his story *Cubic*.



ОТЧЕ НАШ*

— Я хочу спать.* Мне холодно.

— Господи!* Я тоже хочу спать. Одевайся. И хватит капризничать. Довольно. Надевай шарф. Надевай шапку. Надевай валенки.* Где варежки? Стой смиренно. Не вертись.

Когда мальчик был одет, она взяла его за руку, и они вышли из дома. Мальчик ещё не вполне проснулся. Ему было четыре года. Он ёжился и шатался на ходу. Только что начало светать. На дворе стоял синий морозный туман. Мать потуже затянула шарф на шею мальчика, поправила воротник и поцеловала сонное, капризное лицо сына.

Сухие стёбли дикого винограда, висевшие на деревянных галереях с выбитыми стёклами, казались сахарными от инея. Было двадцать пять градусов мороза.* Из рта валил густой пар. Двор был залит обледеневшими помоями.

— Мама, куда мы идём?

— Я тебе сказала: гулять.

— А зачем ты взяла чемоданчик?

— Потому что так надо. И молчи. Не разговаривай. Закрой рот. Простудишься. Видишь, какой мороз. Лучше смотри под ноги, а то поскользнёшься.

У ворот стоял дворник в тулупе, в белом фартуке, с бляхой на груди. Она, не глядя, прошла мимо дворника. Он молча закрыл за ними калитку и заложил её большим железным крюком. Они пошли по улице, снегу не было. Всюду были только лёд и иней. А там, где не было инея и льда, там был гладкий камень или земля твёрдая и гладкая, как камень. Они шли под голыми чёрными акациями, упруго потрескивающими на морозе.

Мать и сын были одеты почти одинаково. На них были довольно хорошие шубки из искусственной обезьяны, бежевые валенки и пестрые шерстяные варежки. Только

OUR FATHER

"I'm sleepy! I'm cold!"

"Lord! I'm sleepy too. Get your clothes on. And stop being naughty. That'll do now. Put on your scarf. And now your cap. And your boots. Where are your mittens? Stand still, don't fidget."

When the boy was ready she took him by the hand and they left the house. He was half asleep. He was four years old. He shivered and stumbled as he walked. It had only just begun to get light. Outside there was a frosty pale-blue mist. The mother wrapped the scarf tighter round the boy's neck, straightened his collar and kissed his sleepy, naughty face.

The dry stalks of wild vine hanging from wooden verandas with the broken panes looked sugary with hoar-frost. The temperature was 25 degrees below freezing point. Thick steam poured from their mouths. The yard was covered with frozen slops.

"Mummy, where are we going?"

"I told you—we're going for a walk."

"But why are you taking the case?"

"Because we need it. And be quiet. Don't talk. Close your mouth. You'll catch cold. You can see what a frost there is. Better look where you're going or you'll slip."

The porter was standing at the gate in his sheepskin coat and white apron with a metal badge on his chest. She passed him without a glance. Silently he closed the gate behind them and fastened it with a big iron hook. They walked down the street. There was no snow. Only hoar-frost and ice everywhere, or smooth stone or earth as hard and smooth as stone. They walked beneath bare acacias which snapped in the frost.

Mother and son were dressed almost alike. They wore rather good coats of artificial fur, beige felt boots and bright-coloured woollen mittens. Only the mother had a checked

у матери на голове клетчатый платок, а у сына круглая обезьянья шапочка с наушниками. На улице было пусто. Когда они дошли до перекрёстка, в рупоре уличного громкоговорителя так громко щёлкнуло, что женщина вздрогнула. Но тут же она догадалась, что это начинается утренняя радиопередача. Она началась, как обычно, пением петуха. Чрезмерно громкий голос петуха музыкально проревел на всю улицу, возвещая начало нового дня. Мальчик посмотрел вверх на ящик громкоговорителя.

— Мамочка, это петушок?

— Да, детка.

— Ему там не холодно?

— Нет. Ему там не холодно. И не вертись. Смотри под ноги.

Затем в рупоре опять щёлкнуло, завозилось, и нежный детский голос трижды произнёс с ангельскими интонациями:

— С добрым утром!* С добрым утром! С добрым утром!

Потом тот же голос, не торопясь, очень проникновенно прочитал по-румынски молитву:

— Отче наш, иже еси на небесах! Да святится имя твоё, да придет царствие твоё, да будет воля твоя...

На углу женщина повернулась от ветра и, увлекая за собой мальчика, почти побежала по переулку, словно её преследовал этот слишком громкий и слишком нежный голос. Скоро голос смолк. Молитва окончилась. Ветер дул с моря по ледяным коридорам улиц. Впереди, окружённый багровым туманом, горел костёр, возле которого грелся немецкий патруль. Женщина повернулась и пошла в другую сторону. Мальчик бежал рядом с ней, топая маленькими бежевыми валенками. Его щеки покраснелись, как клюква. Под носом висела замёрзшая капелька.

— Мама, мы уже гуляем? — спросил мальчик.

— Да, уже гуляем.

— Я не люблю гулять так быстро.

— Потерпи.

Они прошли через проходной двор и вышли на другую улицу. Уже рассвело. Сквозь голубые и синие облака пара и инея хрупко просвечивала розоватая заря.

shawl on her head, while the son wore a round fur cap with ear-flaps. The street was empty. When they came to the crossing, the loud-speaker there gave such a sharp click that the woman started. But she realized at once that it was only the morning broadcast beginning. It opened, as usual, with a cock-crow. The exaggeratedly loud call resounded musically along the whole street, announcing the beginning of a new day. The boy looked up at the loud-speaker.

“Mummy, is that a cock?”

“Yes, child.”

“Isn’t he cold up there?”

“No, he isn’t cold. And don’t fidget. Look where you’re going.”

Then there was another click of the loud-speaker, it warmed up and a child’s sweet voice said in angelic tones:

“Good morning! Good morning! Good morning!”

After that the same voice unhurriedly and with great feeling said in Rumanian the prayer:

“Our Father, which art in Heaven, hallowed be Thy name. Thy Kingdom come. Thy will be done....”

At the corner the woman turned away from the wind and, pulling the boy after her, almost ran along a side street, as though pursued by that too loud and too sweet voice. Soon it fell silent. The prayer was ended. The wind swept in from the sea down the icy corridors of the streets. Ahead a fire was burning, surrounded by a crimson mist; a German patrol were warming themselves at it. The woman turned and took another direction. The boy trotted along beside her in his little beige boots. His cheeks were red as cranberries. A frozen drop hung under his nose.

“Mummy, are we already having our walk?” asked the boy.

“Yes, we are.”

“I don’t like walking so fast.”

“You’ll have to put up with it.”

They went through a yard and out into another street. It was already getting light. Through light and dark blue clouds of hoar-frost shone a brittle-looking strip of pinkish

Она была такая холодная, что от её розового цвета сводило челюсти как от оскóмины. На улице показáлось нéсколько прохожих. Они шли в одном направлениИ. Почти все несли с собой вещи. Некоторые везли вещи, толкая перед собой тележки, или тащили за собой нагруженные салазки, которые царапали полозьями голую мостовую.

В это утро со всех концов города медленно тащились в одном направлении, как муравьи, люди с ношей. Это были евреи, которые направлялись в гетто. Гетто было устроено на Пересыпи, в той скучной, низменной части города, где на уровне моря стояли обгоревшие нефтяные цистерны, похожие на палатки бродячих цирков. Несколько грязных кварталов окружили двумя рядами ржавой колючей проволоки и оставили один вход, как в мышеловку. Евреи шли по улицам, спускавшимся на Пересыпь. Они шли под железнодорожными мостами. Они скользили по обледеневшим тротуарам. Среди них попадались старики, которые не могли идти, и больные сыпным тифом. Их несли на носилках. Некоторые падали и оставались лежать на месте, прислонившись спиной к фонарю или обняв руками уличную чугунную тумбу.* Их никто не сопровождал. Они шли сами, без всякого конвоя. Они знали, что тот, кто останется дома, будет расстрелян. Поэтому они шли сами. За укрывательство еврея также полагался расстрел. За одного спрятанного еврея подлежали расстрелу на месте все жильцы квартиры без исключения. Евреи двигались в гетто со всего города по крутым спускам, под железнодорожными мостами, толкая перед собой тачки и ведя за руку закутанных детей. Среди домов и деревьев, покрытых инеем, они шли один за другим, как муравьи. Они шли мимо закрытых дверей и ворот, мимо дымных костров, у которых грелись немецкие и румынские солдаты. Солдаты не обращали на евреев внимания и грелись, притопывая сапогами и растирая себе рукавицами уши.

Мороз был ужасный. Мороз был велик даже для северного города. Но для Одессы он был просто чудовищный. Такие морозы случаются в Одессе раз в тридцать лет. В клубах густого синего, голубого и зеленого пара слабо просвечивал маленький кружок солнца. На мостовой лежали твердые воробьи, убитые на лету

dawn. It was so cold that the pinkness of it set one's teeth on edge like a nausea. A few passers-by appeared in the street. All of them were going in the same direction. Nearly all were taking their things with them. Some had them on handcarts which they pushed before them, others were pulling loaded sledges, the runners scraping the bare strips of road.

From all parts of the town that morning people carrying bundles were moving slowly in one direction like ants. They were Jews on their way to the ghetto. It had been set up at Peresyp, in that desolate, low-lying part of the town where burnt-out oil cisterns that looked like the tents of travelling circuses stood at sea-level. Several dirty blocks had been surrounded with two rows of rusty barbed wire, leaving one entrance, like a mouse trap. The Jews were moving along the streets leading down to Peresyp. They passed under the railway bridges. They slipped on the icy pavements. Among them were aged people who could not walk and people with typhus. These were carried on stretchers. Some fell and remained lying there, their backs leaning against a lamp-post or their arms clutching an iron mounting block. Nobody accompanied them, they went alone, without any guard. They knew that all who remained at home would be shot. That was why they went themselves. The penalty imposed for sheltering a Jew was also shooting. For one Jew hidden, all the inmates of the flat without exception were liable to be shot on the spot. Jews were going to the ghetto from every part of the town—down the steep slope, under the railway bridges, pushing handcarts before them and leading muffled-up children by the hand. One after the other, like ants, they passed the houses and hoar-frosted trees. They passed closed doors and gates and smoking fires where German and Rumanian soldiers were warming themselves. The soldiers paid no attention to the Jews and continued to warm themselves, stamping with their boots and rubbing their ears with their mittens.

The frost was terrible. Even in a northern town it would have been severe. But for Odessa it was simply monstrous. Such a frost happens there once in thirty years. Through the thick clouds of blue and greenish vapour a small round sun gleamed faintly. Sparrows lay rigid on the roadway, killed in flight by the frost. The sea was frozen to the very horizon.

морозом. Море замёрзло до самого горизонта. Оно было белое. Оттуда дул ветер.

Женщина была похожа на русскую. Мальчик тоже был похож на русского. У мальчика отец был русский. Но это ничего не значило. Мать была еврейка. Они должны были идти в гетто. Отец у мальчика был офицер Красной Армии. Женщина порвала свой паспорт и выбросила его утром в обледенелую уборную. Она вышла из дома с сыном, рассчитывая до тех пор ходить по городу, пока это всё не уляжется. Она думала как-нибудь перебиться. Идти в гетто было безумие. Это означало верную смерть. И вот она стала ходить с мальчиком по городу, стараясь избегать наиболее людных улиц. Сначала мальчик, думая, что они гуляют, молчал. Но скоро он стал капризничать.

— Мама, зачем мы всё время ходим?

— Мы гуляем.

— Так быстро никогда не гуляют. Я устал.

— Потерпи, маленький. Я тоже устала. Но ведь я не капризничаю.

Она заметила, что идет действительно слишком быстро, почти бежит, как будто бы за ней гонятся. Она заставила себя идти медленней. Мальчик посмотрел на неё и не узнал. Он с ужасом увидел распухший искривленный рот,* прядь волос, поседевших от мороза, которая некрасиво выбивалась из-под платка, и неподвижные, стеклянные глаза с резкими зрачками. Такие глаза он видел у игрушечных животных. Она смотрела на сына и не видела его. Сжимая маленькую ручку, она тащила мальчика за собой. Мальчику стало страшно. Он заплакал.

— Я хочу домой. Я хочу пипи.

Она поспешно отвела его за афишную тумбу, заклеенную немецкими приказами. Пока она его расстегивала и застегивала, прикрывая от ветра, мальчик продолжал плакать, дрожа от холода. Потом, когда они пошли дальше, он сказал, что хочет есть. Она повела его в молочную, но так как там завтракали два румынских полицейских в широких шубах с собачьими воротниками, а у неё не было документов и она боялась, что их арестуют и отправят в гетто, она сделала вид, что по ошибке попала не в тот магазин. Она извинилась и

It was white. It was from there that the wind was blowing.

The woman looked like a Russian. So did the boy. His father was Russian, but that was of no importance. His mother was Jewish. They had to go to the ghetto. The boy's father was an officer in the Red Army. The woman had torn up her passport and dropped it down the frozen lavatory that morning. She left the house with her son, intending to walk about the town till everything quietened down. She hoped to manage somehow. It would be madness to go to the ghetto. That would be certain death. So she began walking about the town with the little boy, trying to avoid the more frequented streets. At first the child was quiet, thinking they were going for a walk. But soon he began to be fitful.

"Mummy, why are we walking about all the time?"

"We're having a walk."

"People never go so quickly on a walk. I'm tired."

"Bear up, sonny. I'm tired too. But I'm not grumbling."

She realized that she was indeed going too fast, almost running, as though pursued. She forced herself to go slower. The boy looked up at her and did not recognize her. He felt frightened as he saw the swollen, bitten lips, the strand of hair, whitened with frost, peeping out untidily from under the shawl, and the motionless, glassy eyes with their sharp pupils. He had seen eyes like that on toy animals. She looked at him and did not see him. Squeezing his little hand, she dragged the boy after her. The boy grew afraid. He began to cry.

"I want to go home. I want to pee."

She hastily led him behind a placard column on which were pasted German orders. While she unbuttoned and buttoned him up again, sheltering him from the wind, the boy continued to cry, shivering with cold. Then as they went on, he said he was hungry. She took him into a dairy, but as there were two Rumanian policemen in wide skirted coats with dogskin collar having breakfast there and she had no papers, she feared they would arrest her and drive her to the ghetto; she pretended to have entered the wrong shop by mistake. She apologized and hastily banged the door, on which

поспешно захлопнула дверь с колокольчиком. Мальчик бежал за ней, ничего не понимая, и плакал. В другой молочной никого не было. Он с облегчением переступил порог с прибитой подковой. Там она купила мальчику бутылочку кефира* и бублик.* Пока закутанный мальчик, сидя на высоком стуле, пил кефир, который он очень любил, и жевал бублик, она продолжала лихорадочно думать, что же делать дальше? Она ничего не могла придумать. Но в молочной топилась железная печка, и можно было согреться. Жёнице показалось, что хозяйка молочной смотрит на неё слишком внимательно. Она стала торопливо расплываться. Хозяйка тревожно посмотрела в окно и предложила жёнице ещё немного посидеть возле печки. Печка была раскалена. Она была почти вишневого цвета, немного темнее. По ней бегали искорки. Жара разморила мальчика. Его глаза слипались. Но жёница заторопилась. Она поблагодарила хозяйку и сказала, что торопится. Всё-таки он просидел здесь почти час. Сонный и сытый мальчик с трудом держался на ногах. Она потрясла его за плечи, поправила ему воротник и легонько подтолкнула к двери. Он споткнулся о подкову, прибитую к порогу. Мальчик подал ей ручку,* и она опять повела его по улице. Здесь росли старые платаны. Он пошёл мимо пятнистых платанов с нежной, заиндевевшей корой.

— Я хочу спать, — сказал мальчик, хмурясь от ледяного ветра.

Она сделала вид, что не слышит. Она поняла, что их положение отчаянное. У них почти не было знакомых в городе. Она приехала сюда за два месяца до войны и застряла. Она была совершенно одинока.

— У меня замёрзли колёнки, — сказал мальчик, хныкая.

Она отвела его в сторону и растёрла ему колёни. Он успокоился. Вдруг она вспомнила, что в городе у неё всё-таки есть одна знакомая семья. Они познакомились на теплоходе «Грузия» по дороге из Новороссийска в Одессу. Потом они несколько раз встречались. Это были молодожёны Павловские, он — доцент университета, она — только что окончила строительный техникум. Её звали Вера. Обе жёницы очень понравились друг другу и успели подружиться, пока теплоход шёл из Ново-

there hung a bell. The boy ran after her, not understanding, and crying. The next dairy was empty. With a lightened heart she crossed the threshold on which a horseshoe was nailed. Here she bought the boy a bottle of kefir and a roll. While he sat there on the high stool, muffled up, drinking the kefir, which he was very fond of, and eating his roll, she continued feverishly thinking what to do next. She could think of nothing. But there was an iron stove heating the dairy and it was possible to get warm. The woman fancied that the proprietress was taking too great an interest in her, and she hastily paid. The proprietress looked apprehensively out of the window and then suggested that they should sit by the stove a little while. The stove was red-hot. It glowed almost a cherry colour, only slightly darker. Sparks were playing on it. The heat made the boy sleepy. His eyes began to close. But the woman was in a hurry. She thanked the proprietress and said that she had no time. Nevertheless, she sat there for nearly an hour. Sleepy and fed, the boy could hardly stand on his feet. She shook him by the shoulders, straightened his collar and pushed him gently towards the door. He stumbled over the horseshoe nailed to the threshold. He gave her his hand and again she led him through the streets. Old plane-trees grew here. They walked past the trees with their delicate, patched, hoar-frosted barks.

“I’m sleepy,” said the boy, screwing up his eyes from the icy wind.

She pretended not to hear him. She knew their situation was desperate. They had hardly any acquaintances in the town. She had come here two months before the war and had been unable to get away. She was completely alone.

“My knees are freezing cold,” the boy whimpered.

She took him aside and rubbed his knees. He quietened. Suddenly she remembered that there was, however, one family she knew in the town. They had met on the *Gruziya* sailing from Novorossiisk to Odessa. Afterwards they had seen one another several times. They were the newly-married Pavlovskys; he was an assistant professor at the university, she had just taken a course at a school for builders. Her name was Vera. The two women had liked each other and found time to make friends between Novorossiisk and Odessa.

российска в Одессу. Раза два они побывали друг у друга в гостях. Мужчины тоже подружились. Однажды они даже вместе напились. Однажды все вместе — они с мужьями — ходили на футбольный матч Харьков—Одесса. Павловские болели* за Одессу. Она с мужем болела за Харьков. Одесса выиграла. Боже мой,* что делалось на этом громадном, новом стадионе над морем. Крики, вопли, драка, пыль столбом. Они тогда даже чуть не поссорились. Но теперь об этом приятно было вспомнить. Павловского в городе не было. Павловский был в Красной Армии. Но Вера застряла, не успела эвакуироваться. Недавно она видела Веру на Александровском рынке, и они даже немного поговорили. Но на рынке долго задерживаться было небезопасно. Немцы почти каждый день устраивали облавы. Женщины не говорили и пяти минут. С тех пор они не встречались. Но, вероятно, Вера была в городе. Куда же ей было деться? Павловские были русские. Можно было попытаться переждать у Веры. В крайнем случае можно было оставить мальчика. Павловские жили довольно далеко, на Пироговской, угол Французского бульвара. Женщина повернула.

— Мама, куда мы идём? Домой?

— Нет, маленький, мы идём в гости.

— А к кому?

— Ты тетю Веру Павловскую помнишь? Мы идём в гости к тете Вере Павловской.

— Хорошо, — сказал мальчик, успокоившись. Он любил ходить в гости. Он повеселел.

Они перешли через Строгановский мост над улицей, которая вела в порт. Улица называлась Карантинный Спуск. Внизу стояли скучные прямоугольные дома из песочного камня. Некоторые из них были превращены в груды щебня. Некоторые обгорели. В конце спуска вырисовывались круглые арки другого моста. За арками виднелись угловатые развалины порта. Ещё дальше, поверх обгорелых, провалившихся крыш лежало белое море, замёрзшее до горизонта. На самом горизонте густо синела полоса незамёрзшей воды. Во льду, вокруг белых развалин знаменитого одесского маяка, стояло несколько румынских транспортов, выкрашенных свинцово-серой краской. Вдалеке, налево, на горе, сквозь

Later they had visited each other a couple of times. The men had made friends too. Once they even got drunk together. Once the women and their husbands had gone all together to see a Kharkov-Odessa football match. The Pavlovskys supported Odessa, she and her husband Kharkov. Odessa won. Heavens, how the people stormed in that immense new stadium by the sea! Shouts, yells, scuffles, clouds of dust. They had even nearly quarrelled then. But now it was pleasant to remember it all. Pavlovsky was not in Odessa, he was in the army. But Vera had been caught there and had not been able to be evacuated in time. She had seen her not long before at the Alexandrovsky Market, they had even exchanged a few words. But it was not very safe to stand in the market too long. Nearly every day the Germans organized round-ups. The women did not even talk five minutes. Since then they had not met. But Vera was probably in town—where could she go? The Pavlovskys were Russians. She could try to stay a little while with Vera. At least she could leave the boy there. The Pavlovskys lived quite some distance away, in Pirogovskaya, at the corner of the French Boulevard. The woman turned.

“Mummy, where are we going? Home?”

“No, son, we’re going visiting.”

“Where?”

“Do you remember Auntie Vera? We’re going to see Auntie Vera Pavlovskaya.”

“All right,” said the boy, quietening. He liked going visiting. He cheered up.

They crossed Stroganovsky Bridge over a street leading to the port. It was called Quarantine Slope. At the bottom stood dull square sandstone houses. Several of them had been reduced to heaps of rubble. Some had been burned down. At the end of the slope loomed the rounded arches of another bridge. Beyond them were the angular ruins of the port. Still farther, above the burnt, caved-in roofs lay the white sea, frozen as far as the horizon. On the very horizon a strip of open water stood out dark blue. In the ice, around the white ruins of the famous Odessa Lighthouse, were several Rumanian ships painted a leaden grey. Far away to the left, on a hill, the cupola of the city theatre rose over the town through the clouds of pink and pale blue mist like a shell. The railings

клубы розоватого и нежно-голубого пара, над городом синел купол городского театра, похожий на раковину. Решётка Стрoгановского моста состояла из длинного ряда высоких железных пик. Пики были резко чёрные. Внизу, по Карантинному Спуску, поднимались люди с ведрами. Вода выплёскивалась из ведер и замерзала на мостовой, блестя как стекло при мутноватом свете розового солнца. Всё вместе это было очень красиво. В конце концов, можно было отсидеться* у Павловской, а там будет видно.*

Они шли очень долго. Мальчик устал, но не капризничал. Он торопливо топал маленькими бежевыми валенками, едва поспевая за матерью. Ему хотелось поскорее прийти в гости. Он любил ходить в гости. По дороге мать несколько раз растирала ему побелевшие щёчки. Возле дома, где жили Павловские, на тротуаре горел костёр и грелись солдаты. Дом был большой, в несколько корпусов. Ворота были заперты на цепь. Здесь шла облава. У всех входивших и выходивших проверяли документы. Делая вид, что она торопится, женщина прошла мимо ворот. На неё никто не обратил внимания. Мальчик опять стал капризничать. Тогда она взяла его на руки и побежала, топая ногами по синим плиткам лавы, из которых был сложен тротуар. Мальчик успокоился. Она опять стала колесить по городу. Ей казалось, что она слишком часто появляется в одних и тех же местах, и что на неё начали уже обращать внимание. Тогда ей пришла мысль, что можно несколько часов провести в кинематографе. Сеансы начинались рано, так как позже восьмь часов появляться на улице запрещалось под страхом смерти.

Она чувствовала тошноту и головокружение в душном, вонючем зале, набитом солдатней* и проститутками, которых, так же, как и её, мороз загнал сюда с улицы. Но по крайней мере здесь было тепло и здесь можно было сидеть. Она распустила у мальчика на шее шарф, и мальчик сейчас же заснул, обхватив обеими руками её руку выше локтя. Она просидела, не выходя из зала, подряд два сеанса, с трудом понимая, что происходит на экране. Вероятно, это была военная хроника, а потом комедия или что-нибудь в этом роде: она не могла ловить нить. Всё путалось. То весь экран занимала

of Stroganovsky Bridge formed a long line of high iron spikes. They stood out sharply in black. Down below, people were climbing Quarantine Slope with buckets. Water splashed from them and froze in an instant, gleaming on the road like glass in the dullish light of the pale pink sun. It was all very beautiful. After all, they would be able to stop for a while with Vera, and then they'd see.

They had been going for a long time. The boy was tired, but he behaved. He trotted along quickly in his little beige boots, barely keeping up with his mother. He wanted to get there quickly. He liked paying visits. Several times on the way his mother stopped to rub his whitened cheeks. Near the house where the Pavlovskys lived, a fire was burning on the pavement and soldiers were warming themselves. The house was a large one, consisting of several blocks. The gate was fastened with a chain. Here, a round-up was in process. Everybody entering or leaving had to show his papers. The woman passed the gate, pretending to be in a hurry. Nobody paid any attention to her. The boy began to fret again. Then she picked him up and ran, her feet pattering on the bluish clinker slabs covering the pavement. The boy grew quieter. Once more she began to wander through the town. It seemed to her that she was appearing in the same places too often, that people were beginning to notice her. Then the idea occurred to her that she might spend a few hours in a cinema. Performances began early, people were forbidden to appear on the streets after eight on pain of death.

She felt nauseated and dizzy in the stuffy, reeking cinema crowded with soldiers and prostitutes whom, like herself, the frost had driven in from the street. But at least it was warm, and she could sit down. She unwound the scarf from the boy's neck and he immediately fell asleep, holding her arm above the elbow with both hands. She sat through two performances in succession without leaving the hall, hardly understanding what was happening on the screen. Probably it was a newsreel of the war, and then a comedy or something of the sort, she could not follow the thread. Everything was confused. At one time the whole screen would be filled by the

голова хорошенькой девушки с белокурыми рожками, которая прижималась щекой к плоской груди высокого мужчины без головы, и они в два голоса пели под музыку песенку, то эта же девушка садилась в низенький спортивный автомобиль, то взлетали чёрные фонтаны взрывов — один, два, три, четыре подряд — с жестяным грохотом, как будто бы одним махом раздирали кровельное железо на длинные полосы — одна, две, три, четыре полосы, — и градом падали чёрные куски земли, стуча по жестяному барабану, и по вспаханной снарядами земле ползли танки с траурными крестами, скрежеща и ныряя и выбрасывая из длинных пушек ещё более длинные языки огня и крутящиеся струи белого дыма.

Немецкий солдат в подшитых валенках* и русской меховой шапке-ушанке тяжело навалился на плечо женщины и большим нечистым пальцем щекотал мальчику шею, стараясь его разбудить. От него пахло чесноком и спиртом-сырцом. Он все время дружелюбно хохотал, бессмысленно повторяя:

— Не спи, бубе. Не спи, бубе.

Бубе по-немецки значило мальчик. Мальчик не просыпался, а только вертел головой и хныкал во сне. Тогда немец положил тяжёлую голову на плечо женщине и, обняв её одной рукой, стал другой рукой мять лицо мальчика. Женщина молчала, боясь рассердить солдата. Она боялась, что он потребует у неё документы. От него пахло, кроме того, ещё и копчёной рыбой. Её тошнило. Она делала страшные усилия, чтобы не всплыть и не сделать скандала. Она уговаривала себя быть спокойной. В конце концов немец не делал ничего особенно плохого. Просто хам. Вполне приличный немец. Можно потерпеть. Впрочем, скоро немец заснул у неё на плече. Она сидела не двигаясь. Немец был очень тяжёлый. Хорошо, что он спал.

Девушка с белокурыми рожками опять передвигалась по экрану и вместе с ней через весь зал передвигался длинный пучок белых и чёрных лучей. И с железным грохотом взлетали чёрные фонтаны, и ползли танки, и немецкие батальоны маршировали по пескам пустыни и на Эйфелеву башню поднимался громадный фашистский флаг, и Гитлер с острым носиком и дамским под-

head of a pretty girl with fair hair done like horns, who pressed her cheeks to the flat chest of a tall man without a head, and they sang a duet to the music of a song. Then the girl got into a low sports car; then black columns of explosions rose—one, two, three, four, with a metallic roar as though iron roofing had been split with a single blow into long strips—one, two, three, four of them—and a hail of black clods of earth fell, rattling as though on some metal drum, and tanks with funereal black crosses crawled over shell-ploughed fields, grinding and lurching, their long guns spitting still longer tongues of flame and wreathing streams of white smoke.

A German soldier in soled felt boots and a Russian fur cap with ear-flaps leaned heavily on the woman's shoulder and began tickling the boy's cheek with a thick, dirty finger, trying to waken him. He stank of garlic and raw alcohol. He was laughing amicably and kept repeating:

“Don't sleep, *Bube*. Don't sleep, *Bube*.”

Bube means boy in German. The child did not waken, only turned his head and whimpered in his sleep. Then the German rested his heavy head on the woman's shoulder, and putting one arm round her, began kneading the child's face with his other hand. The woman said nothing, afraid of angering the soldier. She feared he would demand her papers. Besides, the German smelt of smoked fish as well. She was nauseated. She made a tremendous effort to control herself, not to flare up, not to make a scene, persuaded herself to keep quiet. After all, the German was doing nothing particularly bad. He was just a boor. Quite a decent German. She could stand it. In any case, the German soon fell asleep on her shoulder. She sat motionless. The German was very heavy. A good thing he was asleep.

The girl with the fair hair in horns was again moving about on the screen, and with her a long cluster of black and white rays moved across the hall. The black fountains rose with their metallic rumble, and tanks crawled about, and German battalions marched over desert sands, and an enormous fascist flag rose on the Eiffel Tower, and Hitler with his sharp little nose and womanish chin barked from the screen,

бородком ла́ял с экра́на, отста́вив да́мский зад, вы́ка-
тив глаза́ и очень бы́стро закрыва́я и открыва́я рот. Он
так бы́стро закрыва́л и открыва́л рот, что звук небольшо́
опа́здывал: ав, ав, ав, ав...

Солда́ты в темноте́ шу́пали де́вок, и де́вки визжа́ли.
Бы́ло чересчу́р жа́рко, ду́шно, па́хло чесноко́м, копче́ной
ску́мбрией, спи́ртом-сырцо́м, аспи́рином, румы́нскими ду-
ха́ми «ша-нуа́р».* Но всё же здесь бы́ло лу́чше, чем на
морозе́. Же́нщина небольшо́ отдохну́ла. Ма́льчик вы́спал-
ся. Одна́ко послед́ний сеа́нс ко́нчился, и пришло́сь о́пять
вы́йти на у́лицу. Она́ взяла́ ма́льчика за́ руку, и о́нй по-
шли́. В го́роде бы́ло соверше́нно темно́. То́лько плóтный
морозный пар клуби́лся среди́ затемнённых домо́в. От
него́ слипа́лись ресни́цы. На у́лицах горели́ ды́мные
костры́, почти́ заду́шенные морозом. Иногда́ где-то разда-
ва́лись одино́чные вы́стрелы. По у́лицам ходи́ли патру-
ли. Был де́вятый час. Она́ взяла́ на́ руки отяжелёвшего
от сна ребёнка и побежа́ла, почти́ теря́я созна́ние от
одной то́лько мы́сли, что их мо́жет остано́вить патру́ль.
Она́ выбира́ла са́мые глу́хие переу́лки. Плата́ны и ака́-
ции, по́крытые и́неем, сто́яли вдоль у́лицы, как приви-
де́ния. Го́род был пуст и те́мен. Иногда́ во тьме откры-
ва́лась дверь, и вме́сте с я́ркой полосо́й све́та, вдруг
освеща́вшей замёрзшие у подьез́да автомоби́ли, из ба-
де́ги* на миг вырыва́лся стра́стный, пронзи́тельный визг
скри́пки. Же́нщина благополучно́ добежа́ла до па́рка
культу́ры и о́тдыха и́мени Шевче́нко.* Грома́дный парк
тяну́лся вдоль мо́ря. Здесь бы́ло глу́хо и т́хо. Осóбен-
но т́хо бы́ло внизу́, под обры́вом, над замёрзшим до
горизо́нта мо́рем. Над мо́рем сто́яла тишина́, плóтная,
как стена́. Не́сколько круп́ных звёзд игра́ло над бе́лыми
ветвя́ми дере́вьев. По звёздам скользя́л голу́бой луч
проже́ктора.

Она́ пошла́ по широ́кой асфа́льтовой доро́ге. Сле́ва
был тот са́мый стадио́н, где о́нй все вме́сте смотре́ли
матч Оде́сса-Ха́рьков. За обло́мками стадио́на бы́ло мо́-
ре. В темноте́ его́ не́ было ви́дно, но его́ сразу́ мо́жно
бы́ло угада́ть по ти́шине. Спра́ва тяну́лся парк. Широ́-
кая асфа́льтовая доро́га мерца́ла при све́те звёзд, как
нажда́чная бума́га. Же́нщина шла и узна́вала поро́ды
дере́вьев. Здесь бы́ли ката́льпы с дли́нными стручка́ми,
вися́щими почти́ до земли́, как верёвки. Здесь бы́ли пи-

sticking out his womanish behind, rolling his eyes and open-
ing and shutting his mouth very fast. He moved his jaws so
swiftly that the sound came a little later: wow, wow, wow,
wow....

Soldiers tickled girls in the darkness and the girls squealed.
It was extremely hot and stuffy, there was a smell of garlic,
smoked mackerel, raw alcohol, aspirin, and Rumanian Chat
Noir perfume. But all the same, it was better here than out
in the cold. The woman had been able to rest a little. The boy
had had a good sleep. But the last programme came to an
end, and once more she had to go out into the street. She
took the boy's hand and they went. It was quite dark in
the town. Only the thick frosty mist rolled among the dark-
ened houses. It froze her eyelashes together. Smoky fires
burned on the streets, almost choked by frost. Sometimes
single shots would ring out somewhere. Patrols marched the
streets. It was between eight and nine. She picked up the
boy, heavy with sleep, and ran, almost fainting at the very
thought of being stopped by a patrol. She chose the most
deserted side streets. Plane-trees and acacias covered in
hoar-frost stood like spectres along the road. The town was
dark and empty. Sometimes a door would open in the dark-
ness, and together with the bright strip of light that sud-
denly lit up the cars standing freezing before the entrance
of the café, came the passionate piercing screech of a violin.
The woman managed to run to Shevchenko Park of Culture
and Rest. The immense park stretched along the sea front.
Here it was dark and quiet. It was especially quiet down
below, under the cliff overlooking the sea, frozen as far as
the horizon. The silence of the sea was like a wall. Several
large stars twinkled over the white branches of trees. Among
them glided the blue finger of a searchlight.

She walked along the broad asphalt road. On her left was
the stadium where they had seen the Odessa-Kharkov match.
Beyond the debris of the stadium lay the sea. In the darkness
she could not see it, but she could sense its presence from
the silence. On her right lay the park. The broad asphalt road
gleamed in the starlight like emery paper. The woman walked
along, recognizing all the kinds of trees. There were catalpas,
with their long pods hanging almost to the ground like ropes.
There were pyramidal acacias, planes, thujas and vinegar

рамидальные акации, платаны, туи, укусовые деревья. Покрытые густым инеем, они сливались вместе и висели над самой землёй, как облака; она перевела дух и уже более медленно пошла вдоль нескончаемо длинного ряда пустых скамеек. Впрочем, на одной скамейке кто-то сидел. Она прошла мимо с бьющимся сердцем. Чёрная фигура, склонившаяся головой на спинку скамьи, не пошевелилась. Женщина заметила, что человек был наполовину покрыт инеем, как дерево. Над чёрным куполом обсерватории, который возвышался среди белых облаков сада, дрожали гранёные звёзды Большой Медведицы. Здесь было очень тихо и совсем не страшно. Может быть, было не страшно потому, что женщина слишком устала.

А на следующее утро, когда ещё не вполне рассвело, по городу ездили грузовики, подбиравшие трупы замёрзших ночью людей. Один грузовик медленно проехал по широкой асфальтовой дороге в парке культуры и отдыха имени Шевченко. Грузовик остановился два раза. Один раз он остановился возле скамейки, где сидел замёрзший старик. Другой раз он остановился возле скамейки, где сидела женщина с мальчиком. Она держала его за руку. Они сидели рядом. Они были одеты почти одинаково. На них были довольно хорошие шубки из искусственной обезьяны, бежевые валенки и пёстрые шерстяные варежки. Они сидели, как живые, только их лица, за ночь обросшие инеем, были совершенно белы и пушисты, и на ресницах висела ледяная бахрома. Когда солдаты их подняли, они не разогнулись. Солдаты раскачали и бросили в грузовик женщину с подогнутыми ногами. Она стукнулась о старика, как деревянная. Потом солдаты раскачали и легко бросили мальчика с подогнутыми ногами. Он стукнулся о женщину, как деревянный, и даже немного подскочил.

Когда грузовик отъезжал, в рупоре уличного громкоговорителя пропел петух, возвещая начало нового дня. Затем нежный детский голос произнёс с ангельскими интонациями: — С добрым утром! С добрым утром! С добрым утром!

Потом тот же голос, не торопясь, очень проникновенно прочёл по-румынски молитву господню:

— Отче наш, иже еси на небесах! Да святится имя твоё, да придет царствие твоё...

1946

trees. Covered thickly with hoar-frost, they interlaced and hung low over the ground like clouds. She took breath and began walking more slowly now, along the endless row of empty benches. But there was somebody sitting on one of them. She went past with pounding heart. The black figure, with its head resting on the back of the seat, did not stir. The woman saw that the man was half covered with hoar-frost like a tree. Above the observatory cupola that rose among the white clouds of the garden the faceted stars of the Great Bear shimmered. It was very quiet here, and not at all frightening. Perhaps it was not frightening because the woman was so tired.

Next morning, when dawn was only just breaking, lorries drove through the town collecting the corpses of those who had been frozen to death during the night. One lorry went slowly along the broad road running through the Shevchenko Park. The lorry stopped twice. Once it stopped beside the bench where the old man sat frozen. The second time it stopped by a bench where a woman and boy were sitting. She was holding his hand. They were sitting side by side. They were dressed almost alike. Both were wearing rather good coats of artificial fur, beige felt boots and bright woollen mittens. They were sitting there as though alive; only their faces were white and downy, and an icy fringe hung from their lashes. When the soldiers lifted them, they did not straighten out. The soldiers swung and threw into the lorry the woman with her legs bent in a sitting position. She knocked like wood against the old man. Then the soldiers swung and easily tossed in the sitting child. He knocked like wood against the woman, and even bounced a bit.

As the lorry drove away, a cock crowed through the street loud-speaker, announcing the beginning of a new day. Then a child's sweet voice said in angelic tones: "Good morning! Good morning! Good morning!"

After that the same voice unhurriedly and with great feeling recited the Lord's Prayer in Rumanian:

"Our Father, which art in Heaven, hallowed be Thy name. Thy Kingdom come...."

1946

YURI NAGIBIN

Yuri Nagibin was born in Moscow in 1920. He studied at the Scenario Department of the All-Union Institute of Cinematography. In 1941-43 he served in the army-in-the-field. He was seriously wounded. After recovery he worked as a war correspondent for a number of central newspapers. Nagibin's first collection of short stories, *The Man from the Front*, appeared in 1943. He has published quite a few collections of short stories: *Great Heart*, 1944; *Two Forces*, 1944; *Spark of Life*, 1948; *The Commanding Height*, 1951; *In Early Spring*, 1961, etc., the novels *Pavlik*, 1959-61, *Chistiye Prudy*, 1961, the collections of short stories *On the Quiet Lake*, 1966; and *The Summer of My Youth*, 1968.

Nagibin wrote screen adaptations of his novels and short stories, among them are *Hard Happiness*, *A Night Visitor* and *The Komarov Brothers*.

The short story *Komarov* was written in 1953.



КОМАРОВ

Когда облака наплывали на солнце, вода в заливе из голубовато-белёсой становилась сизою, с тусклым свинцовым отсветом. Большой, гладко вылизанный волнами камень, торчавший метрах в пяти* от берега, тоже темнел, и от него ложилась на воду бархатистая чёрная тень. Колёблемая волной, тень то укорачивалась, то удлинялась, и мне стало казаться, будто у камня плещется чёрный тюленёнок.

— Комаров, перестань! Слышишь, что тебе говорят,* Комаров!

Уже не в первый раз звучал за моей спиной этот скрипучий женский голос. И всякий раз он призывал к порядку какого-то Комарова. «Беспокойный мужчина, — подумал я о Комарове. — Чего он там колобродит*?» Но повернуться лень, а к тому же посмеркло, и у большого камня вновь заиграл чёрный тюленёнок. Видение обрело странную устойчивость: чем дольше я смотрел, тем труднее было представить, что это всего лишь клочок тьмы.

— Комаров, в последний раз говорю, оставь Рыжика в покое! — вновь проскрипело за моей спиной. — Встань, Комаров!

— А я ничего не делаю! — слышался сиповатый, недовольный голос.

Я оглянулся и упёрся взглядом в пуп, похожий на отпечаток гривенника* в песке. Неподалёку от меня стоял четырёхлетний человек, совершенно голый, если не считать высокой белой панамы,* лихо нахлобученной на одно ухо. Из-под панамы серьёзно и чуть удивлённо глядели два круглых, бутылочного цвета, глаза. Рожца* у Комарова курносая, веснушчатая и самая продувная. Над Комаровым склонилась рослая, грузная женщина в зелёном шелковом платье. При малейшем её движении жёсткий шёлк рассыпал сухой треск электри-

КОМАРОВ

When clouds floated across the sun, the waters of the gulf changed from a bluish white to bluish grey with a dull leaden shimmer. A big wave-sleeked rock about five meters from the shore also darkened and cast a velvety black shadow on the water. Rocked by the waves, the shadow shortened and lengthened and I began to think a black baby seal was splashing about round the rock.

“Komarov, stop it! Do you hear me?”

It was not the first time I heard that woman's grating voice behind me. And every time it had been calling to order somebody by the name of Komarov. What a restless fellow he must be, I thought. What's he up to now? But I felt too lazy to turn round, and besides, the sky had darkened again and the black seal-calf had again begun to play by the rock. The illusion became strangely real, and the longer I looked the harder it became to realize that it was nothing more than a patch of shadow.

“Komarov, for the last time, leave Ryzhik alone!” Again that grating voice behind me. “Get up, Komarov!”

“I'm not doing anything!” came a husky, discontented voice.

I looked round and found myself staring at a navel that looked like the imprint of a ten-copeck piece in the sand. A short distance away stood a four-year-old, completely naked except for a tall white sun-hat tilted rakishly over one ear. From under it two serious bottle-green eyes looked out in mild surprise. Komarov had a little snub-nosed, freckled, most mischievous-looking face. A big heavy woman in a green silk dress was bending over him. At her slightest movement the stiff silk scattered electric discharges with a sharp crackling. Behind the nursery-teacher, their angular

ческих разрядов. Позади воспитательницы,* подставив солнцу спины с острыми уголками лопаток, лежали двадцать—двадцать пять сверстников Комарова.

— Ты зачём закладывал ногу на Рыжика? — негодующе воскликнула воспитательница, и в лад её скрипучему голосу рассыпались трескучие искры шёлка.

— А чего* он лежит, как мёртвый! — отозвался Комаров.

— Зачём ты кидал песок в глаза товарищам?

— Кто кидал? Я его сеял... Это ветер.

Мудрая обоснованность ответов Комарова явно ставила в тупик* воспитательницу.

— Тяжёлый мальчик! — вздохнула она.

— Я не тяжёлый, — возразил Комаров и похлопал себя по животу. — Я после обеда тяжёлый.*

Подошла молодая женщина в белом халате с повязкой медсестры* на рукаве и молча показала на часы.

— Подъём!* Подъём! — закричала воспитательница и, как клуша* крыльями, замахала короткими полными руками, родив настоящую электрическую бурю. — Одеваться и стробиться!*

В воздухе послушно замелькали кусочки ситца — короткие ребячьи трусики, посыпался песок из сандалий, и вот уже первые пары чинно подравниваются в затылок, и только Комаров, голый и сумрачный, не притронулся к одежде.

— А купаться кто будет?* — хмуро бормотнул он как бы про себя.

— Во всяком случае, не ты! — съязвила воспитательница, но, видимо, зная, что от Комарова так просто не отделаться, сочла нужным добавить: — Врач запретил купаться: вода слишком холодная.

— Дети могут простудиться? — серьёзно спросил Комаров.

— Хватит разговоров, одевайся!

Комаров с ожесточением схватил трусики, но почему-то не надел их сразу, а сперва занял место в строю, и лишь тогда, сделав из штанов кольцо, сунул в него ногу.

— Пошли!*

Воспитательница хлопнула в ладоши, строй колых-

shoulder-blades to the sun, lay some twenty or so of Komarov's contemporaries.

“Why did you keep putting your foot on Ryzhik!” the governess cried indignantly, and her electrical silk dress crackled in unison with her grating voice.

“He shouldn't lie there as if he was dead!” Komarov answered.

“Why did you throw sand in your comrades' eyes?”

“Me throw sand? I was sowing... It was the wind.”

The wise argumentation of Komarov's replies seemed to leave the teacher at a loss.

“What a burden the boy is!” she said with a sigh.

“I'm not a burden,” Komarov retorted. And patting his tummy he added, “I only feel heavy after dinner.”

A young woman in a white coat with a nurse's band on her sleeve came up and, without saying a word, pointed at her watch.

“Time to get up! Time to get up!” the teacher cried and began waving her short plump arms like a brood-hen flapping its wings, letting loose a regular storm of electricity. “Put on your clothes and line up!”

Little cotton shorts began to wave obediently in the air, sand was shaken out of sandals, and soon the youngsters were pairing up one behind the other, and only Komarov, naked and sombre, did not touch his clothes.

“Aren't we going to swim?” he muttered glumly, almost to himself.

“You aren't, at any rate!” the teacher snapped, but evidently knowing that Komarov was not to be dealt with so easily, considered it necessary to add: “The doctor won't allow bathing, the water's too cold.”

“Can children catch cold?” Komarov asked seriously.

“Enough chatter! Get dressed!”

Komarov snatched up his shorts in high dudgeon, but for some reason did not put them on at once. He first took his place in the ranks, and only then did he make a ring of them and put his legs through it.

“Off we go!”

The teacher clapped her hands, the line stirred into mo-

нүлся, двинулся и тут же пришёл в замешательство. Писк, гам, волнение. Что случилось? Комаров споткнулся, повалил идущего впереди мальчика, тот, в свою очередь, опрокинул следующего. Воспитательница навела порядок. Новая команда — и новая свалка.

— Что с вами, дети?

— Комаров падает...

— Комаров, выйди из строя!

Комаров добросовестно пытается * выполнить приказание, делает странный, укороченный шаг и падает на песок.

— Что с тобой, Комаров?

— Плохо моё дело, — сказал Комаров, поднялся, шагнул и вновь упал.

— Что это с ним? — В голосе воспитательницы отчаяние. — Неужели солнечный удар?

Товарищи Комарова очень довольны, они весело смеются, затем один из них говорит: — Нина Павловна, он обе ноги в одну штанину сунул.

У воспитательницы, верно, никогда не было собственных детей. Она обескураженно смотрит на Комарова, точно не зная, как помочь бедё, затем нагибается и немело выпростывает * ногу Комарова из штанины.

— Зачем ты это сделал? — говорит она распрямляясь.

— Так интересней, — спокойно и благожелательно поясняет Комаров, и, вдруг осенённый новой идеей, спрашивает: — Нина Павловна, а что такое человек?

— Не знаю, — раздражённо отмахнулась воспитательница.

И я подумал, что она сказала правду.

Группа тронулась дальше и вскоре скрылась в прибрежном сосняке.

А через несколько дней я снова встретился с Комаровым. Я возвращался с моря по крутой песчаной улице. Вдоль правой её стороны тянулась изгородь, дальше круто вверх забирал * густой сосняк; по левую же сторону раскинулись пустыри войны, не обжитые * до сих пор; они густо поросли папоротником и какими-то непривычного вида хвощами, ёдко пахнущими скипидаром.

И вот, когда я поравнялся со штакетником, одна из планок его вдруг сдвинулась в сторону, в широкой щели показалась маленькая, иссечённая белыми травяны-

tion but was immediately thrown into disarray. Squeals, cries, confusion. What had happened? Komarov had tripped and pushed over the boy in front, who in his turn had knocked down the next. The teacher restored order, then gave the command again, and there was a fresh scrimmage.

“What’s the matter with you, children?”

“Komarov keeps falling over.”

“Komarov, step out of the ranks!”

Komarov tried conscientiously to carry out the order, took a strange, foreshorted step forward and fell on the sand.

“What’s wrong with you, Komarov?”

“I’m in a bad way.” Komarov stood up, took one step forward and again tumbled over.

“What’s the matter with him?” There was despair in the teacher’s voice. “He hasn’t got sunstroke, has he?”

Komarov’s companions were highly amused and laughed merrily. Then one said: “Nina Pavlovna, he’s put both feet through one leg of his shorts.”

I am sure the teacher had never had any children of her own. She looked at Komarov disheartened, as though not knowing how to deal with the disaster, then bent down and clumsily freed Komarov’s leg from his shorts.

“What did you do that for?” she asked, straightening up.

“It’s more fun that way,” Komarov explained with calm amiability. Then suddenly struck by a new idea, he asked: “Nina Pavlovna, what is a human being?”

“I don’t know.” The governess waved the question aside in exasperation.

And it occurred to me that she was speaking the truth.

The party moved off and was soon out of sight in the pine wood near the shore.

A few days later I again ran into Komarov. I was coming back from the sea along a steep sandy street. Along the right-hand side there was a fence and a thick pine wood rose steeply beyond it; on the left was land laid waste by the war and still not put to use; it was thickly overgrown with ferns and an unusual kind of mare’s tail which had the pungent smell of turpentine.

Just as I drew level with the fence, one of the boards suddenly moved aside and a small grass-scratched foot in a sandal appeared; it was followed by a sun-hat that looked

ми порéзами ногá в сандáлии, затём панáмка, похóжая на поварскóй колпáк, загорéлая, испáчканная рукá и, наконец — вся фигу́ра моего́ пля́жного знакóмца. Он вýлез, осмотрéлся кругóм; я почúвствовал на себе́ его́ настороже́нный взгляд и сде́лал вид, что он меня́ ни-ско́лько не занима́ет. Тогда́ он акку́ратно поста́вил пла́нку на пре́жнее ме́сто и залился до́лгим торже́ствующим сме́хом. Не́ было ника́ких сомне́ний: Кома́ров соверши́л побéг.

Ка́юсь, я не взял Кома́рова за́ руку и не отвёл его́ к воспитáтельнице. Улица́ была́ помéчена зна́ками, запреща́ющими проéзд, и Кома́рову ничто́ не грози́ло, к тому́ же и я был ря́дом. Пра́вда, воспитáтельница переживёт не́сколько неприятных мину́т, но... подело́м * ей.

Мне приходи́лось * не́сколько раз в день проходи́ть ми́мо это́го дётского са́да, и я убедился́, что зде́шняя воспитáтельница я́вно не в лада́х с приро́дой. Она́ не доверя́ла молоды́м колóчим со́сенкам, куста́рнику, при-юти́вшему густу́ю тень, да́льным уголка́м са́да, зарóсшим ди́кой мали́ной и ежеви́кой. Из всей обши́рной тер-ритóрии са́да она́ оста́вила своим пи́томцам лишь глáдкий пятачо́к крокетной пло́щадки. И сто́ило кому́-нибудь из ребя́т в погóне за жуко́м или́ прóсто в порýве любо-знáтельности нару́шить запрéтную зо́ну,* как испуган-ный óкрик немéдленно настига́л беглеца́.

Конéчно, так ей бы́ло куда́ удобнее блюсти́ * своих пи́томцев, но мне ка́залось, что она́ сли́шком упрощáет себе́ зада́чу. «Пусть Кома́ров погуля́ет на во́ле, — реши́л я и предоста́вил ему́ свобóду. — Чтó-то он ста́нет дéлать?»

Внизу́, по примóрскому шоссé, звóнко сигнала́ на по-ворóтах, пронóсились легковы́е маши́ны, грузовики́, тяжёло́ осéвшие авто́бусы, отча́янно тарахте́ли мотоцик-ли́сты, но Кома́рова, городско́го ребéнка, не привлека́ли зна́комые городские́ шу́мы. Не обрати́л он ника́кого внима́ния и на спуска́ющихся с горы́ велосипедистов, ко-то́рые, держа́сь рукой́ за седло́, бежа́ли вдогонку за своими́ позва́нивающими на нерóвностях доро́ги велоси-пе́дами...

Кома́рова привлека́л дéвственный мир, и он заковыля́л на бугóр. Неожиданности подстерега́ли * его́ здесь на ка́ждом шагú. Вот он наступи́л на ка́кую-то дощéчку,

like a chef's cap, a grubby sunburnt arm and, finally, the whole figure of my beach acquaintance. He wormed through the fence and looked all round. I felt his wary gaze on me and pretended he did not interest me. Then he neatly put the board back in place and broke into peals of triumphant laughter. There was no doubt about it—Komarov had run away.

I am sorry to say I did not take Komarov's hand and lead him back to his teacher. The street was marked up with "No thoroughfare" signs, and Komarov was in no danger: besides I was close by. True, his teacher would experience a few unpleasant minutes, but she deserved it anyway.

I used to pass this kindergarten several times a day and I was convinced that the teacher there was quite out of tune with nature. She did not trust the prickly young pines, the bushes harbouring deep shade or the far corners of the garden with their raspberry canes and blackberry bushes. The only place in the spacious garden which she left available to her charges to roam in was the patch of the tiny croquet lawn. As soon as one of them, in pursuit of a beetle or out of sheer curiosity, went out of bounds, a startled call would overtake the fugitive.

Of course this made it much easier for her to watch over her charges, but it seemed to me that she was oversimplifying her duties. Let Komarov roam in freedom, I thought, and left him his liberty. What would he do next?

Cars, lorries and crowded buses were racing along the coastal road below, hooting loudly at the turns. Motor cycles roared desperately. But Komarov, a child of the city, was not attracted by these familiar sounds. He did not even pay any attention to the cyclists running down the hill, holding their bumping, clanking bicycles by the saddle.

It was the virgin world of nature that attracted Komarov. He began to toddle up a hillock. There was a surprise waiting for him at every step. He trod on a bit of board and out

и из-под неё с упругим щёлком выскочила зелёная сосновая шишка. Пролетев метра полтора, шишка приземлилась на краю дорожки, под кустом таволги, чуть поворочалась и улеглась спокойно. Это была цельная, крепенькая молодая шишка, верно ещё никогда не виденная Комаровым, потому что такие шишки прочно держатся на ветках, а по цвету неотличимы от хвои. К тому же она прыгала! Лёгким, радушимся шагом Комаров приблизился к шишке и прихлопнул её ладошкой. Попалась! Он ощупал пальцами твёрдое ребристое тело шишки, но это не открыло ему тайны маленького зелёного кругляша.

— Ты разве умеешь прыгать? — спросил Комаров.

Не получив ответа, он решил испытать шишку: он положил её на землю и отвернулся. Нет, шишка спокойно лежит на том же месте, она не делает ни малейшей попытки к бегству. Тогда Комаров зажал шишку в кулак и в тот же миг увидел ещё две такие же шишки под кустом таволги. Он хотел достать их и вдруг с болезненным криком отдернул руку: он острекнулся* о крапиву, впутавшую свой колючий лист в ветку таволги. Комаров потёр руку,лизал её языком и вновь потянулся за шишками, внимательно следя за тем, откуда придёт боль. Вот он коснулся цветка, отодвинул мягкий морщинистый лист, и тут неприметный колючий страж опять вонзил ему в руки свои шипы...

Но на этот раз Комаров только поморщился. Он подполз под куст, осторожно отделил стёбель крапивы и смелым движением вырвал его из земли. Колючки разом смялись под сильной хваткой и уже не смогли впиться в кожу. Это было настоящее открытие, и теперь Комаров легко овладел шишками. Но все три не поместились у него в кулак, и он схоронил* одну шишку под лопухом. Размахивая крапивой, он побрёл вверх по улице.

Ноги его развезжались в песке, к тому же путь ему преграждали большие округлые валуны, торчащие из земли. Комарову пришлось огибать каждый валун. Когда же он попытался пройти по гладкой поверхности камня, то немедленно поскользнулся. Комаров никому не давал спуску*: он остановился и основательно высек камень крапивой.

popped a green pine-cone with a tense click. It jumped about a yard and a half and landed on the edge of the road under a bush of meadowsweet, bounced once or twice and lay still. It was an intact, firm pine-cone and I am sure Komarov had never seen one like it before, because such cones hold tight on to their branches and are the same colour as the pine needles. And besides, it could jump! Komarov crept quietly up to the pine-cone and clapped his hand over it. Caught! He felt the firm ribbed body of the cone with his fingers, but that did not tell him the secret of the small round green thing.

"Can you jump, then?" Komarov asked.

Receiving no answer, he decided to test the cone. He put it on the ground and turned away. No, the cone lay quietly on the ground and made no attempt to escape. Then Komarov squeezed the cone in his fist and at that moment saw two more cones under the bush of meadowsweet. He wanted to pick them up, but suddenly he let out a cry of pain and drew his hand back. He had been stung by nettles, whose prickly leaves were tangled in the bush. Komarov rubbed his hand, licked it, and again reached out for the cones, watching carefully to find out where the pain came from. He touched the flower, moved aside the soft, crinkly leaf and at that moment the inconspicuous sentry drove its prickles into his hand....

But this time Komarov merely frowned. He crawled under the bush, carefully singled out the stalk of the nettle and plucked it out of the ground with a fearless movement. The prickles crumpled at once in his strong grasp and could not pierce the skin. This was a real discovery, and now Komarov easily took possession of the cones. But his fist was too small to hold all three of them and he hid one cone under some burdock. Then he wandered up the road, swinging the nettle.

His feet slipped in the sand and big boulders sticking out of the earth barred his path. He had to go round each of them, for whenever he tried to climb their smooth sides he at once slipped down again. But Komarov wasn't going to stand for that. He stopped and gave the boulder a good whipping with the nettle.

Не успел он закончить экзекуцию,* как где-то наверху с отчаянным разливом промычал теленок. Комаров замер, затем, помогая себе руками, изо всех сил устремился вперед.

Примерно на половине подъема находился широкий уступ, справа он вдавался в сосняк, образуя небольшую поляну. Там пасся теленок, привязанный к сосновому пеньку. И вот посреди полянки встретились двое ребят: сын человеческий и рыжий младенец бычок.

Хотя Комарову было столько же лет, сколько теленку месяцев, они могли считаться ровесниками. Но теленок знал, кто такой Комаров, а Комаров не знал, кто такой теленок. Бычок смотрел на мальчика криво и равнодушно, Комаров смотрел на бычка с изумлением, готовым перейти в пылкую любовь.

— Ты кто такой? — спросил Комаров.

Теленок молчал, шевеля мягкими губами и перекатывая во рту жвачку. Тогда Комаров ответил сам себе:

— Ты большая собака.

Он протянул руку, чтобы погладить «большую собаку», но теленку не хотелось, чтоб его гладили, а быть может, его испугал стებель крапивы в руке Комарова, напоминавший ему хворостинку, какой хозяйка загоняла его во двор. Он попятился, натянул веревку, затем скакнул в сторону.

— Чего ты? — укоризненно сказал Комаров и шагнул к теленку.

Но тому надоело отступать, он опустил лобастую голову* с мокрым от вечерней росы завитком и двумя шерстистыми вздутиями на месте будущих рогов, вытянул шею и с угрожающим видом двинулся на Комарова.

Лицо мальчика страдальчески скривилось, он совсем не хотел ссориться. Но было что-то в характере этого человека, что не позволяло ему отступать перед опасностью. Он тоже выставил вперед голову с двумя светлыми буграми на чистом высоком лбу, зажмурил глаза и, прежде нежели я успел вмешаться, кинулся на теленка лоб в лоб. Теленок не принял боя. Валько отступивши на своих прямых шатких ножках, он повернулся и кинулся прочь. Комаров с победным криком припустился вдогонку.

Веревка позволяла теленку бежать по кругу, он бежал

He had not finished meting out punishment when a calf somewhere higher up gave a loud doleful moo. For a moment Komarov stood rooted to the spot, then, using feet and hands, he hurried on.

About half way up the slope there was a broad ledge jutting out on the right into a pine grove which formed a small clearing. Here a calf was grazing, tethered to a pine stump. And there in the middle of the clearing the two youngsters met: the son of man and the young red bull.

Although Komarov was as many years old as the calf was months, they could be counted as equal in age. But the calf knew what Komarov was and Komarov did not know what the calf was. The young bull surveyed the boy with submissive indifference; Komarov surveyed the bull with an astonishment that might at any moment turn into ardent love.

“Who are you?” Komarov asked.

The calf remained silent, moving its soft lips and turning over the cud in its mouth. Then Komarov answered his question himself:

“You’re a big dog.”

He reached out to stroke the ‘big dog’, but the calf did not want to be stroked, and perhaps it was frightened of the nettle in Komarov’s hand, which reminded it of the switch its mistress used to drive it into the yard. It backed away, stretching out the rope, then pranced to one side.

“What’s the matter?” Komarov said reproachfully and stepped towards the calf.

But the calf was tired of retreat: it lowered its bulging forehead with its curl wet with the evening dew and the two furry bumps where its horns were to grow, and advanced menacingly on Komarov.

The boy’s face assumed a hurt expression; he was by no means out for a quarrel. But there was something in that character of his that would not allow him to retreat in the face of danger. He, too, lowered his head with the two shining bumps on his clear lofty forehead, screwed up his eyes and, before I had time to intervene, charged head on at the calf. The calf did not accept the challenge. Edging back on its straight unsteady legs, it suddenly turned and bounded away. Komarov rushed in pursuit with a cry of triumph.

The rope allowed the calf to run only in a circle, and it

куда резвее Комарова и потому на втором круге увидел вдруг прямо перед собой спину своего преследователя. Комаров был в этот миг беззащитен, но теленок, вместо того чтобы использовать своё преимущество, окончательно пал духом и отказался бороться с противником, который мог одновременно преследовать его и сзади и спереди. Он понуро остановился, вздохнул глубоко и печально, как умеют вздыхать лишь взрослые быки, и, прищёпнув губой длинную былинку, стал ждать решения своей участи.

Комарову пришлось проскакать целый круг, прежде чем он обнаружил, что враг приведён в покорность. Тогда он смело приблизился к теленку, похлопал его ладошкой по взмокнутому боку, погладил его твёрдый как камень лоб, глаза под жесткими, вздрагивающими ресничками, мягкий, резиновый нос.

Теленок терпел все нежности победителя и только вздыхал.

— Что, боишься? — спросил Комаров, но этим ограничилась его месть, он даже добавил в утешение и поучение теленку. — Я тебя тоже боялся, а теперь не боюсь. — Он хитро прищурился: — А ты не большая собачка. Не-ет! Ты маленькая коровка.

— Му-у! — печально отозвался теленок, заверяя Комарова, что он никогда больше не будет притворяться строптивым.

— До свидания, — сказал Комаров.

Он снова вышел на дорогу и вдруг замер, чуть шатнувшись назад, будто наскок на невидимую преграду. Я сразу понял, что поразило Комарова: он ненароком * оказался лицом к подножию склона, где в бесконечной глубине бесшумно и грозно пенится прибой.

Зелёный коридор улицы острой стрелой летел в море. Сладкое щемящее чувство высоты, пространства и полёта пронзило мальчика. Он замахал руками, запрыгал, потом стал выкрикивать какие-то непонятные, как в детской считалке, слова, наконец запел без слов и мелодии...

И вдруг песня смолкла: Комаров, словно бессильный вместить всю мощь впечатлений, повернулся и быстро заковылял прочь...

Лягушка, перескочившая ему дорогу, вернула Кома-

ran a lot faster than Komarov, and so on the second lap it found itself just behind its pursuer. At that moment Komarov was defenceless, but instead of using its advantage, the calf lost courage altogether and refused to fight an opponent that could pursue it from in front and behind simultaneously. It stopped in despair, sighed deeply and sadly as only grown-up bulls can sigh, and flipping up a long stalk of grass in its lips, stood waiting for its fate to be decided.

Komarov had to gallop all round the circle before he discovered that the enemy was subdued. Then he went boldly up to the calf, slapped its sweating flank with his hands and stroked its rock-like forehead, its eyes with their rough quivering lashes, and its soft rubbery nose.

The calf put up with the affections of its conqueror and merely sighed.

“So you’re afraid, are you?” asked Komarov, but his revenge went no further than that and he even added for the calf’s consolation and edification: “I was afraid of you too, but I’m not now.” He grinned slyly. “But you’re not a big dog. Oh, no! You’re a little cow.”

“Moo!” the calf responded sadly, assuring Komarov that he would never again pretend to be unmanageable.

“Bye-bye,” said Komarov.

He went out on to the road and suddenly stood stockstill, as though he had run into some invisible obstacle. I realized at once what had startled the boy: without any warning he had found himself looking down the slope, at the foot of which far, far below, the sea was breaking noiselessly and menacingly.

The green corridor of the street shot like a sharp arrow into the sea and the boy was penetrated by a thrilling, aching sensation of height, of space, of flying. He flapped his arms, jumped up and down and began to shout strange incomprehensible words, like the rhymes used by children in their games. Then he burst into a song without any words...

And suddenly the song broke off. As though powerless to express all the strength of his feelings, Komarov turned and stumped quickly away....

A frog that jumped across his path brought him back to

роба к милой земной привычности. Он побежал за лягушкой и догнал её у самой обочины. Когда тень мальчика накрыла лягушку, она замерла, выгнув спинку. Комаров схватил её и, повернув кверху брюшком, тыкал пальцем в упругую плёнку. Верно, он искал комочек вара и стальной рычажок, с помощью которого скачет игрушечная лягушка. Но у этой живот был совсем гладкий, и Комаров задумался. Панама сползла ему на нос, но он не замечал этого, поглощённый новой загадкой жизни. Он чуть сжимал и разжимал ладонь и как будто к чему-то прислушивался. Лягушка не двигалась, её длинные сухие ножки торчали из кулака мальчика двумя хворостинками, но, верно, всё же его руке сообщился трепет жизни маленького тела.

— Живая! — засмеялся он и затем предложил с лукаво восторженным выражением: — Давай водиться,* а? Я тебя выпущу потом...

Лягушка не возражала и осталась в кулаке Комарова.

Теперь Комаров взглядом опытного следопыта обозрел окрестный мир. На высоком песчаном срезе обнажились корни сосен, тонкие корневые волоски шевелились на ветру, извивались, пуская струйки песка, и, конечно же, Комарову потребовалось выяснить, живые они или только притворяются, играют в одушевленную, самостоятельную жизнь. Вот он уже шагнул к песчаному срезу, но ему не суждено было провести это последнее исследование.

Со всех сторон, замыкая беглеца в железный круг, двигалась облава.* Ведомые воспитательницей, шли её младшие помощницы, нянечки, судомойки в белых фартуках, медсестра с красным крестом на рукаве и старик сторож в валенках.

— Вот он! — слышался крик, и с этим криком кончилась свобода Комарова.

Комаров не понимал, чего* шумят все эти люди, чего так жалобно причитают. Он ощущал себя сильным и богатым, он хотел, чтобы всем было хорошо. И когда воспитательница приблизилась к нему, он широким, великодушным движением протянул ей всю свою добычу: стебель крапивы, две зелёные шишки и живую лягушку.

the earth he was used to and loved. He ran after the frog and caught up with it at the edge of the road. When the boy's shadow fell upon it, the frog arched its back and froze into immobility. Komarov seized it, turning its belly upwards. He examined it, poking his finger into the springy membrane. He must have been looking for the lump of wax and the steel spring by which a toy frog jumps. But the frog's belly was quite smooth and Komarov became thoughtful. The sunhat slipped on to his nose but, absorbed in this new riddle of life, he did not notice it. He softly clenched and unclenched his hand, as though listening for something. The frog did not move, its long spindly legs stuck out of the boy's fist like two twigs, but his hand must have felt the throb of life in the little body.

"It's alive!" He laughed and then suggested with an expression of cunning triumph: "Let's stay together, eh? I'll let you go afterwards...."

The frog made no objection and remained in Komarov's fist.

Now Komarov surveyed the world around him with the eye of an experienced explorer. From a high sandy crag dangled the bare roots of pine-trees; the fine root fibres quivered and twisted in the breeze sprinkling streams of sand, and of course Komarov had to go and see whether they, too, were real or only pretending to be, playing at having a real independent life. He took a step towards the crag, but he was not destined to carry out this last investigation.

From all sides, locking the runaway in a ring of steel, the searchers closed in. Led by the teacher, her junior assistants, the nurses, the kitchen-maids in white aprons, the sister with the red cross on her arm and an old watchman in felt boots descended on Komarov.

"There he is!" someone shouted, and that shout put an end to Komarov's freedom.

Komarov did not understand why all these people were making such a fuss, or what all their complaints and lamentations were about. He felt himself strong and rich, he wanted everybody to feel fine. And when the teacher approached him, he held out his hand and with a sweeping, magnanimous gesture offered her all his trophies—the nettle stalk, the two green pine-cones, and the live frog.

KONSTANTIN PAUSTOVSKY

Konstantin Paustovsky (1892-1968) was born in Moscow. He spent his boyhood in the Ukraine; he went to school in Kiev and then studied at Kiev University. His first short story appeared in a Kiev magazine in 1911. During the Civil War Paustovsky served in the Red Army. Later he wandered over the country and changed profession many times; he was a tram-driver and conductor, worked in various factories, was a fisherman on the Sea of Azov, a teacher of Russian literature and a journalist. At one time he worked in the Odessa newspaper *Moryak* (*Seaman*), to which Katayev, Iff, Bagritsky and Babel contributed. After he had moved to Moscow, Paustovsky began to publish his works on and off, but it was not before his book *Kara-Bugaz* (Eng. tr. *The Black Gulf*) came out in 1932 that he fully embarked on a writer's career. Paustovsky travelled a lot all over the Soviet Union. It was these journeys that enabled him to write *The Meshchersk Country*, *Colchis*, *The Black Sea*, *The Fate of Charles Lonceville*, *A Northern Story* and *A Tale of the Forests*. Paustovsky also wrote an autobiographical novel in several parts: *Distant Years*, 1947; *A Restless Youth*, 1955; *The Beginning of an Unknown Age*, 1956; *Time of Great Expectations*, 1958; *Book of Wanderings*, 1963.

The Soviet people and their country were Paustovsky's favourite subjects and he treated them with profound delicacy of feeling, faith in human nature, and lyricism. He also had a fondness for tales about well-known writers and musicians. Examples of these are *A Dickens Incident*, *The Basket of Pine Cones* and *The Old Cook*, given in this collection.



СЛУЧАИ С ДИККЕНСОМ

(Из записной книжки)

Жёлтые облака над Феодосией.* Они кажутся древними, средневековыми. Жара. Прибой гремит жестянками. Мальчишки сидят на старой акации и набивают рот сухими сладкими цветами. Далёко над морем подымается прозрачная струя дыма — идёт из Одессы теплоход. Мрачный рыбак, подпоясанный обрывком сёти, свистит и сплёвывает в воду — ему скучно. Рядом с рыбаком на берегу сидит мальчик и читает книгу. «Дай, пацан,* поглядеть, что такое за книга»,* — хрипло пробормотал рыбак. Мальчик робко протягивает книгу. Рыбак начинает читать. Он читает пять минут, десять, он согнут от увлечения и говорит: «Вот это завинчено,* убей меня бог!»* Мальчик ждёт. Рыбак читает уже полчаса. Облака переменялись на небе местами, мальчишки уже объели одну акацию и полезли на другую. Рыбак читает. Мальчик смотрит на него с тревогой. Проходит час. «Дядя, — шепотом говорит мальчик, — мне надо домой». — «До мамы?»* — не глядя на него, спрашивает рыбак. «До мамы», — отвечает мальчик. «Успеешь до мамы», — сердито говорит рыбак. Мальчик замолкает. Рыбак с шумом перелистывает страницы, глотает слюну.* Проходит полтора часа. Мальчик начинает тихо плакать. Теплоход уже подходит к порту и гудит небрежно и величаво. Рыбак читает. Мальчик плачет, уже не скрываясь,* слёзы текут по его дрожащим щекам. Рыбак ничего не видит. Старый пристанский сторож кричит ему: «Пётя, чего ты мучаешь ребёнка! Отдай книгу, имей каплю совести*». Рыбак удивлённо смотрит на мальчика, бросает ему книгу, плюёт, говорит с сердцем: «На, собственник,* базарная душа,* подавись той* книгой!» Мальчик хватается за книгу и бежит, не оглядываясь, по раскалённому портовому спуску. «Что это была за книга?» — спрашиваю я рыбака. «Та * Диккенс, — говорит он с досадой. — Такой прилипчивый* писатель — как смола!»

A DICKENS INCIDENT

(From a Writer's Note-Book)

Yellow clouds hang over Feodosiya. They seem ancient, medieval. It is hot. The breakers clang like sheets of metal. Small boys perched on an old acacia are stuffing into their mouths its dry, sweet blossoms. Far away over the sea arises a thin wisp of smoke, it's the steamer coming from Odessa. A gloomy fisherman with a piece of net for a belt whistles and spits into the water, he is bored. Beside the fisherman on the bank sits a boy reading a book. "Hey, youngster, let's see what kind of book that is," asks the fisherman in a hoarse voice. The boy timidly holds out the book. The fisherman begins reading. He reads for five minutes, ten minutes, he snuffles with excitement. "Struth, he's sure piled it on!" The boy waits. The fisherman has now been reading for half an hour. The clouds have shifted in the sky, the boys have stripped one acacia clean and climbed on another. The fisherman reads on. The boy looks anxiously at him. An hour goes by. "Uncle," the boy whispers, "I must go home." "To your mummy?" the fisherman asks without looking at him. "Yes," answers the boy. "There's no hurry," the fisherman says angrily. The boy falls silent. The fisherman turns the pages noisily, gulping with excitement. An hour and a half goes by. The boy begins to weep softly. The steamer is already entering the port, it hoots nonchalantly and majestically. The fisherman is reading. The boy is now crying without trying to hide it, tears running down his trembling cheeks. The fisherman sees nothing. The old pier watchman shouts to him, "Petya, why are you tormenting the child? Give the book back, have a heart!" The fisherman casts a look of amazement at the boy, throws the book to him, spits, and says with anger, "Here, take your property, you mercantile-minded brat! Hope it chokes yeu!" The boy grabs the book and runs along the scorching harbour slope without a look back. "What book was it?" I ask the fisherman. "Oh, Dickens," he said, annoyed. "What a writer! Sticks to you, like tar!"

ПРИТОЧНАЯ ТРАВА

Прошлым летом я возвращался с Борового озера к себе в деревню. Дорога шла по просеке в сосновом лесу. Всё вокруг заросло пахучими от летней сухости травами.

Особенно много колосистой травы и цветов росло около старых пней. Трухлявые эти пни разваливались от лёгкого толчка ногой. Тогда взлетала тёмным облаком коричневая, как размолотый кофе, пыль, и в открывшихся внутри пня запутанных и таинственных ходах, проточенных * короёдами, начинали суетиться крылатые муравьи, жужелицы и плоские чёрные жуки в красных погонах, похожие на военных музыкантов. Недаром этих жуков звали «солдатыками».

Потом из норы под пнём вылезал заспанный — чёрный с золотом — шмель и, гудя, как самолёт, взлетал, норовя щёлкнуть с размаху в лоб разрушителя.

Кучевые облака громоздились в небе. Они были на взгляд такие тугие, что можно было, очевидно, лежать на их ослепительных белых громадах и смотреть оттуда на приветливую землю с её лесами, просеками, полянами, цветущей рожью, поблёскиванием тихой воды и пёстрыми стадами.

На поляне около лесной опушки я увидел синие цветы. Они жались друг к другу. Заросли их были похожи на маленькие озёра с густой синей водой.

Я нарвал большой букет этих цветов. Когда я встряхивал его, в цветах погромыхивали созревшие семена.

Цветы были незнакомые, похожие на колокольчики. Но у колокольчиков чашечка всегда склоняется к земле, а у этих неизвестных цветов сухие чашечки стояли, выткнувшись вверх.

Дорога вышла из леса в поля. Невидимые жаворонки тотчас запели над рожью. Впечатление было такое, буд-

GOOD LUCK FLOWER

Last summer I was on my way home to the village from Borovoye Lake. The road went through a clearing in a pine wood. All around was overgrown with grass, fragrant with the summer dryness.

Eared grass and flowers grew in particular abundance near old stumps. The rotten stumps fell to pieces at the slightest kick. Then dark clouds of brown dust like finely ground coffee rose in the air and in the intricate and mysterious passages made by bark beetles there began a bustling of winged ants, horned beetles and black flat-backed beetles with red shoulder straps like military bandmen. No wonder these beetles are called tin soldiers.

Then a sleepy, black and gold bumble-bee crawled out of a hole under the stump and droning like an aeroplane, flew up, aiming to slap the intruder's forehead with all its might.

Cumulus clouds were piled in the sky. They looked so taut that it seemed one could lie on their dazzling white mass and gaze down on the smiling earth with its woods, clearings, glades, flowering rye, sparkling, still waters and motley herds.

In a glade near the edge of the wood I saw some blue flowers. They clustered together in clumps which resembled tiny lakes of deep blue water.

I plucked a large bouquet of these flowers. When I shook it, the ripe seeds rattled faintly inside the flowers.

The flowers, unknown to me, resembled campanulas. But the cups of campanulas are always bowed down towards the ground, whereas these unknown flowers had brittle cups which stood erect, stretching upwards.

The road emerged from the woods into the fields. Invisible skylarks were at once heard singing high above the

то они перебрасывали друг другу стеклянную нитку. Они то роняли её, то тут же на лету подхватывали, и дрожащий её звон не затихал ни на минуту.

На полевой дороге мне попались навстречу две деревенские девушки. Они шли, должно быть, издалека. Пыльные туфли, связанные тесёмками, висели у них через плечо. Они о чём-то болтали, смеялись, но, увидев меня, тотчас замолкли, торопливо поправили под платочками светлые волосы и сердито поджали губы.

Почему-то всегда бывает обидно, когда вот такие загорелые, сероглазые и смешливые девушки, увидев тебя, сразу же напускают на себя суровость.* И ещё обиднее, когда, разминувшись с ними, услышишь за спиной сдержанный смех.

Я уже был готов обидеться, но, поравнявшись со мной, девушки остановились, и обе сразу улыбнулись мне так застенчиво и легко, что я даже растерялся. Что может быть лучше этой неожиданной девичьей улыбки на глухой полевой дороге, когда в синей глубине глаз вдруг появляется влажный ласковый блеск и ты стоишь, удивлённый, будто перед тобой сразу расцвёл всеми своими сияющими цветами, весь в брызгах и пахучей прелести, куст жимолости или боярышника?

— Спасибо вам, — сказали мне девушки.

— За что?

— За то, что вы нам повстречались с этими цветами.

Девушки вдруг бросились бежать, но на бегу несколько раз оглядывались и, смеясь, ласково кричали мне один и те же слова:

— Спасибо вам! Спасибо!

Я решил, что девушки развеселились и шутят надо мной. Но в этом маленьком случае на полевой дороге всё же было что-то таинственное, удивительное, чего я не мог понять.

На околице деревни мне встретила торопливая чистенькая старушка. Она тащила на верёвке дымчатую козу. Увидев меня, старушка остановилась, всплеснула руками, выпустила козу и запела:

— Ой, милёк!* И до чего ж это чудесно, что ты мне встретился на пути. Уж и не знаю, как мне тебя благодарить.

rye. The impression was as though they were throwing a glass thread from one to another. One moment they dropped it, then immediately caught it up in flight and its quivering note did not break off for a moment.

On the road across the fields I saw two girls coming towards me. They must have come from afar. Their dusty shoes, tied together by the laces, hung over their shoulders. They were chatting and laughing, but when they saw me they immediately became silent, hurriedly put right their fair hair under their scarves, and demurely shut their lips tight.

Somewhat it is always vexing when such sunburnt, grey-eyed, merry girls as these put on a forbidding expression as soon as they see you. And it is still more vexing when you hear suppressed laughter behind your back after you have passed them.

I was indeed on the point of feeling offended when, coming level with me, the girls stopped and both at once smiled at me so shyly and pleasantly that I was even embarrassed. What can be better than such an unexpected smile from a girl on a lonely country road when a moist, soft glow appears in the blue depths of her eyes and you stand amazed as though a bush of honeysuckle or hawthorn had suddenly opened out in front of you its radiant blossoms, splashed with sun and fragrant in their beauty!

"Thank you," the girls said to me.

"What for?"

"For comming our way with those flowers."

The girls suddenly broke into a run, but turned back several times and laughing, kept repeating with feeling the same words:

"Thank you! Thank you!"

I concluded that the girls had recovered their merriness and were making fun of me. And yet in that small incident on a country road there was something mysterious and wonderful that I could not understand.

On the outskirts of the village I met a neat little old woman hurrying along. She was leading a smoke-grey goat by a rope. When she saw me she stopped, threw up her hands, let go of the goat and said in a singing voice:

"Oh, my dear! How wonderful it is for me to come upon you on my way. I really don't know how to thank you."

— За что же меня благодарить, бабушка*? — спросил я.

— Ишь, притворённый*, — ответила старушка и хитро покачала головой. — Уж будто ты и не знаешь! Сказать этого я тебе не могу, нельзя говорить. Ты иди своей дорогой и не торопись, чтобы тебе встретилось побольше людей.

Только в деревне загадка, наконец, разъяснилась. Раскрыл её мне председатель сельсовета, Иван Карпович — человек строгий и деловой, но имевший склонность к краеведению и историческим изысканиям, как он выражался, «в масштабах своего района».

— Это вы нашли редкий цветок, — сказал он мне. — Называется «приточная трава». Есть такое поверье — да вот не знаю, стоит ли его разоблачать? — будто этот цветок приносит девушкам счастливую любовь, а пожилым людям — спокойную старость. И вообще — счастье.

Иван Карпович засмеялся.

— Вот и мне вы попались навстречу с «приточной травой». Пожалуй, будет и мне удача в моей работе. Надо думать, шоссейную дорогу из области к себе мы в этом году закончим. И соберём первый урожай проса. До сего времени * его здесь не сеяли.

Он помолчал, улыбнулся каким-то своим мыслям и добавил:

— А за девушек я рад. Это хорошие девушки, лучшие наши огородницы.

1953

“Thank me? What for, grandmother?” I asked.

“Now don’t pretend!” the old woman replied, shaking her head cunningly. “As if you didn’t know! It’s a thing I can’t tell you, one must not speak of it. You go your way and don’t hurry, so that more people can meet you.”

Only in the village was the riddle at last explained. It was the chairman of the village Soviet, Ivan Karpovich, who solved it for me. He was a strict and businesslike man, but with a bent towards local lore and historical research “on a district scale,” as he put it.

“That’s a rare flower you’ve found, you see,” he said. “It’s called the good luck flower. There is a belief, indeed I don’t know whether I should disclose it, that this flower brings girls luck in love and quiet old age to elderly people. Happiness in general.”

Ivan Karpovich laughed.

“And here you have come my way too with the good luck flower. Very likely I shall have success in my work. I suppose we’ll finish the road from the regional centre to our village this year. And reap our first millet harvest. Millet was never sown here before.”

He was silent for a while, then he smiled at some thought of his, and added:

“I’m glad for the girls, though. They’re good girls, our best vegetable gardeners.”

1953

ШИПОВНИК

Нóчью над рекой опустился туман. Пароход не мог идти дальше: за туманом не было видно ни бакегов, ни перевальных огней.

Пароход приткнулся к крутому берегу и затих. Только равномерно поскрипывали сходни, переброшенные на берег. По этим сходням матросы завели чалку и закрепили её вокруг старой ракиты.

Маша * Климова проснулась среди ночи. Такая тишина стояла вокруг, что было слышно, как в дальней каюте всхрапывал пассажир.

Маша села на койке. В открытое окно лился свежий воздух, сладковатый запах липовых листьев.

Кусты, неясные от тумана, нависали над палубой. Маше показалось, будто пароход непонятным образом очутился на земле, в чаще кустарников. Потом она услышала лёгкое журчанье воды и догадалась, что пароход остановился у берега.

В кустах что-то щёлкнуло и затихло. Потом щёлкнуло опять. И опять затихло. Будто кто-то, щёлкнув, прислушивался, пробовал на звук тишину и отзывчивость ночи. Вскоре щёлканье перешло в длинный перелив и оборвалось коротким свистом. Тотчас на свист откликнулись десятки птичьих голосов, и внезапный соловьиный раскát пронёсся по зарослям.

— Слышишь, Егоров? — спросил кто-то сверху, должно быть на капитанском мостике.

— Такого соловьиного ббья даже на Шексне не было, — ответил снизу хриловатый голос.

Маша улыбнулась, вытянула перед собой руки. Они казались очень смуглыми при смутном свете ночи — только ногти белели на пальцах.

— Отчего это мне грустно, не понимаю? — спросила полголоса Маша. — Жду чего-то? А чего, и сама не знаю.

SWEET BRIAR

During the night a fog settled on the river. The steamer could go no farther, neither buoys nor beacons could be seen for the fog.

The boat snuggled close to the steep bank and came to a standstill. Only the gangway creaked rhythmically as it was let down on to the bank. The sailors hauled a mooring-rope along it and made it fast to an old broom bush.

Masha Klimova woke in the middle of the night. It was so quiet on the boat that she could hear a passenger snoring in his cabin some distance away.

She sat up in her berth. Through the open window came fresh air and the sweetish smell of lime leaves.

Bushes, blurred in the fog, hung over the deck. Masha had the impression that the boat had somehow been deposited on land and was standing in a grove of bushes. Then she heard the lapping of water and realized that the boat had stopped near the bank.

A trill came from the bushes, and then silence. Then another trill, and silence again. It was as if someone had struck a note only to test the silence and responsiveness of the night. Soon the trills merged into a roulade and broke off in a short whistle. At once dozens of voices echoed the whistle and the thicket rang with the sudden peals of nightingales.

"Hear that, Yegorov?" came a voice from above, probably from the bridge.

"There wasn't such nightingales' song even on the Sheksna," answered a husky voice from below.

Masha smiled and stretched out her hands in front of her. They looked very dark in the dim night, only the fingernails gleaming palely.

"I can't understand why I am melancholy," Masha whispered to herself. "Am I waiting for something? What for? I don't know myself."

Она вспомнила бабушкины разговоры о том, что есть на свете непонятная девичья грусть и сказала:

— Глупости! Какая там девичья грусть!* Просто у меня начинается своя жизнь. Потому чуть-чуть и страшно.

Маша окончила недавно лесной институт иехала сейчас из Ленинграда на Нижнюю Волгу — на работу — сажать колхозные леса.

Маша хитрила, конечно, перед собой, когда думала, что ей только чуть-чуть страшно. Страшно ей было настоящему. Она представляла себе, как придет на лесной участок и начальник, — обязательно пыльный, угрюмый человек в черной куртке с оттянутыми карманами, в залепленных комьями глины сапогах, — посмотрит на нее, на серые ее глаза («Совсем как оловянные плошки», — думала о своих глазах Маша), на косы и подумает: «Прелестно! Не хватало нам еще этих девочек с косичками. Небось* все будет теперь твердить про свои учебники. А у нас тут не до них! Как хватит* суховей «астраханец», так твои учебники, милая, тебе здесь не очень помогут».

За длинную дорогу Маша привыкла к мысли об угрюмом начальнике в черной куртке и перестала его бояться. Но грусть все же не проходила.

Маша не знала, что это вовсе не грусть, а то чувство, какому нет еще, пожалуй, точного названия, — замирание сердца перед неизвестным будущим, перед простой красотой земли с ее реками, туманами, глубокими ночами и шумом прибрежных ветел.

Сон не приходил. Маша оделась, вышла на палубу. Все было в росе — перила, проволочная решетка вдоль борта и плетеные кресла.

На баке слышался приглушенный разговор.

— Я ему говорю, — рассказывал молодой матрос. — «Дед,* а дед, оставь мне покурить». Он дал мне окурок. Я затаился, спрашиваю: «Чего* ты тут, дед, делаешь ночью, в лугах?» — «Зарю, говорит, стерегу». А сам смеется. «Может, это последняя заря в моем существовании.* Тебе, говорит, этого не понять. Ты парень молодой».

Матросы замолчали. Снова в кустах защелкали соловьи.

She recalled her grandmother's words that there is such a thing as a girl's inexplicable melancholy.

“Nonsense!” she thought. “A girl's melancholy fiddlesticks! It's just that I'm beginning life on my own. And because of that I'm a wee bit afraid.”

Masha had just graduated from the Institute of Forestry and was on her way from Leningrad to the Lower Volga, to work on afforestation for a collective farm.

Masha was, of course, deceiving herself when she thought that she was only a wee bit afraid. She was well and truly scared. She imagined her arrival at her sector: her chief would undoubtedly be a grim-faced individual all covered with dust wearing a black jacket with bulging pockets and boots caked with clay. He would look at her, at her grey eyes (which Masha herself thought were just like tin saucers) and at her plaits, and would think: “Charming! A pigtailed girl is all we needed! She'll probably be always quoting her textbooks. We've no use for them here. When the dry Astrakhan wind starts blowing, my dear, your text-books won't help you much.”

During her long trip Masha had got used to the idea of the grim chief in the black jacket and ceased to be afraid of him. But her melancholy was yet not wearing off.

She did not realize that it was not exactly melancholy, but a feeling, perhaps, which has no definite name—a state of suspense before an unknown future, before the simple beauty of the earth, its rivers, dark nights and rusting riverside willows.

Sleep would not come. Masha dressed and went on deck. Everything was covered with dew—the rail, the wire netting along the side, and the wicker armchairs.

A muffled conversation could be heard on the foredeck. “‘Eh, Grandad, give me a draw, will you?’ I said to the old man,” a young sailor was saying. “He gave me the fag end. I took a draw and asked him, ‘What are you doing here in the meadows in the middle of the night, Grandad?’—‘Guarding the dawn,’ he said and laughed. ‘Maybe it's the last dawn in my life. That's something you can't understand—you're too young!’”

The sailors fell silent. Again the nightingales started singing in the bushes.

Мáша облокотíлась на перíла. Далеко́ во тьме дру́жно заголоси́ли петухи́, — там, за тумáном, была́, оче́видно, дере́вня.

«Какие́ же это́ петухи́? Пёрвые и́ли вторы́е?..»

Мáша подумала́, что не зна́ет, когда́ пою́т пёрвые, а когда́ вторы́е. Деся́тки раз чита́ла об это́м в кни́гах, а не зна́ет.

Посоветовала́ Мáше по́ехать парохо́дом ба́бушка, вдова́ речно́го капита́на. Мáша была́ ра́да, что послу́шалась её. Парохо́д шёл снача́ла по чёрно-си́ней Неве́, пото́м пересёк Ла́догу. Мáша впервые́ уви́дела её се́рую во́ду и ка́менные маяки́ на низменных мы́сах. Уви́дела бурли́вую Сви́рь, шлю́зы на Мари́нском кана́ле, берега́, зарос́шие хвощо́м, неизме́нных мальчи́шек на пристаня́х, сосредото́ченно уди́вших уклёек кривы́ми удо́чками.

Попу́тчики меня́лись, но все они́ каза́лись Мáше интере́сными. В Белозе́рске сел на парохо́д молодóй ещё лётчик с седы́ми виска́ми. Он отды́хал, должно́ быть, в Белозе́рске, у ма́тери — ху́денькой стару́шки в се́ром ситцевом пла́тье. Она́ тихонько пла́кала на пристани́, провожа́я сы́на, а лётчик говори́л ей с па́лубы:

— Ты не забу́дь, ма́ма: я ту́ ры́бу, что *налови́л, по́весил в по́гребе, за ле́сенкой. Ты одно́го о́куня дай Ва́ське.

— Не забу́ду, Па́ша, ника́к не забу́ду, — кива́ла стару́шка, вытира́я глаза́ свёрнутым в ко́мочек платко́м.

Лётчик улыба́лся, шути́л, но смотре́л на стару́шку не отрыва́ясь. Щека́ у него́ дрожа́ла.

Пото́м на парохо́д се́ли актёры. Они́ мно́го шумели́, остри́ли, то́тчас перезнако́мились со все́ми пассажи́рами. В сало́не тепе́рь почти́ не затиха́ло отсыре́вшее от речны́х тумáнов пиани́но.

Оди́н пожи́лой актёр, остроли́чный, бы́стрый, пел ча́ще други́х. Мáша с удивле́нием слу́шала его́ пе́сни — до тех пор она́ ни одно́й тако́й пе́сни не зна́ла. Особе́нно ча́сто актёр пел польску́ю пе́сенку о влю́бленном во́ре. Ему́ не удало́сь укра́сть для любимо́й де́вушки звезду́ с ночно́го не́ба, и де́вушка его́ за это́ прогна́ла.

Ка́ждый раз, когда́ актёр окáнчивал эту́ пе́сню, он гро́мко захло́пывал кры́шку пиани́но и говори́л:

Masha leaned on the rail. Far away in the mist, cocks crowed in chorus. There must have been a village there, beyond the fog.

“Was that the first cock—or the second?...”

Masha reflected that she did not know when the first cock crows and when the second. Dozens of times she had read about it in books and still did not know.

It was her grandmother, a river pilot's widow, who had advised Masha to go by boat. Masha was glad she had obeyed her. The boat had first sailed up the blue-black Neva, then crossed Ladoga Lake. For the first time Masha had seen its grey waters and the stone lighthouses on its low-lying capes. She saw the turbulent Svir, the sluices on the Mariinsky Canal, the banks overgrown with horsetail and the invariable boys on the piers absorbed in fishing bleak with their crooked fishing rods.

The passengers kept changing, but Masha found them all interesting. At Belozyorsk an airman, still young but with grey temples, boarded the ship. Probably he had been spending his holidays in Belozyorsk with his mother, a thin old woman in a grey cotton dress. She was weeping softly on the pier and he was speaking to her from the deck:

“Don't forget the fish I caught, Mother. I hung them up in the cellar, behind the stairs. Give one of the perch to Vaska.”

“I won't forget, Pasha, of course I won't,” the old woman nodded, wiping her eyes with a handkerchief rolled up in a ball.

The airman smiled and joked, but never took his eyes off her. His cheeks were twitching.

Then some actors came on board. They were a boisterous lot, cracked jokes, and immediately made acquaintance with all the passengers. In the saloon the piano, out of tune from the river fogs, was hardly ever silent.

One elderly actor, a sharp-featured, brisk man, sang more often than the others, and Masha listened wonderingly to his songs. She had not heard a single song like those before. A song he sang particularly often was a Polish one about a thief in love. He did not succeed in stealing a star from the sky for his sweetheart, and because of that the girl jilted him.

At the end of this song the actor would bang down the piano lid and say:

— Мораль сей песенки ясна. Будьте снисходительны к любящим. Не возражайте! Разговор окончен.

Он поправлял чёрный галстук бантиком, садился за столик и заказывал себе пиво и воблу.

В Череповце на пароходе появилось несколько студентов архитектурного института. Они возвращались в Москву из Кирилло-Белозёрского монастыря. В монастырь они ездили на практику — делать обмеры и зарисовки старинных построек.

Всю дорогу студенты спорили о каменной резьбе, сводах, Андрее Рублёве* и о высотных домах в Москве. Маша, слушая их, только краснела за своё невежество.

Когда на пароходе появились студенты, пожилой актёр как-то притих, перестал петь песенку о воре и всё время сидел на палубе, читал Станиславского* «Моя жизнь в искусстве». Читая, он надевал очки. От этого его лицо делалось добрым и старым. И Маше стало ясно, что все напыщенные актёрские тирады — застарелая привычка и что человек этот гораздо лучше, чем хочет казаться.

Сейчас все пассажиры спали — и лётчик, и актёр, и студенты. Одна Маша стояла на палубе и слушала звуки ночи, стараясь их разгадать.

Далёкий гул возник в небе и медленно затих. Должно быть, выше тумана прошёл ночной самолёт. Ударил под берегом рыба, а потом где-то в отдалении запел пастуший рожок. Он пел так далеко, что сначала Маша не могла понять, что это за протяжные и приятные звуки.

Кто-то чиркнул спичкой за спиной у Маши. Она оглянулась. Позади стоял лётчик и закуривал папиросу. Горящую спичку он бросил в воду. Она медленно падала сквозь туман. Вокруг спичечного пламени образовался радужный пар.

— Соловьи спать не дадут, — сказал лётчик, и Маша, не видя, догадалась, что он улыбается в темноте. — Прямо как в песне: «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, — пусть солдаты немного поспят...»*

— Я никогда ещё не слыхала таких соловьёв, — сказала Маша.

— Поездите по Советскому Союзу — не то ещё узна-

“The moral of this song is clear: be kind to lovers. Don't object! The question's settled!”

Then he would straighten out his black bow tie and order beer and dried fish.

At Cherepovets several students from the Institute of Architecture came on board. They were returning to Moscow from the Kirillo-Belozyorsk Monastery. They had been to the monastery for practice, to take the measurements and make sketches of the old buildings.

All the way the students argued about stone carvings, arches, Andrei Rublyov and the many-storeyed buildings in Moscow. Masha, listening, blushed at her ignorance.

When the students appeared on board, the elderly actor somehow quietened down, stopped singing his song about the thief, and spent all his time sitting on deck reading Stanislavsky's “My Life in Art.” When he read he would put on spectacles, which made his face look kind and old. It became clear to Masha that all those pompous theatrical tirades were just an old habit, and that he was a far better man than he wished to appear.

Now all the passengers were asleep—the airman, the actor and the students. Masha stood alone on deck and listened to the sounds of the night, trying to guess their cause.

A distant drone was heard in the sky and then slowly faded away. Probably an aeroplane was passing high above the fog. Somewhere near the bank a fish splashed, and then came the sound of a shepherd's pipe. It was so distant that at first Masha was puzzled by the lingering, pleasant notes.

Someone behind Masha's back struck a match. She looked round. Behind her stood the young airman, lighting a cigarette. He dropped the burning match overboard, and it fell slowly through the fog, with a halo of rainbow-coloured vapour around the flame.

“These nightingales won't let one sleep,” the airman said, and Masha, though she could not see him, guessed that he was smiling in the darkness. “Just like in the song: ‘Nightingale, nightingale, do not trouble the lads; let the soldiers have some little rest!’”

“I never heard such nightingales before,” said Masha.

“Take a trip through the Soviet Union, and you'll get

ете, — ответил лётчик. — Такая страна и во сне не всегда приснится.

— Это потому, что вы летаете, — заметила Маша, — и земля всё время меняется у вас под крылом.

— Не думаю, — ответил лётчик и надолго замолчал. — Светает, — сказал он наконец. — Засинело уже на востоке... Вы куда едете?

— В Камышин.

— Есть такой городок на Волге. Жарá, арбузы, помидоры...

— А вы куда?

— Я дальше.

Лётчик облокотился о перила и смотрел, как разгорается рассвет. Пастуший рожок пел уже ближе. Подул ветер. Туман зашевелился. Его понесло клочьями над рекой. Стали видны мокрые кусты и среди них сплетённый из ивы шалаш. Около шалаша курился очаг.

Маша тоже смотрела на рассвет. На золотеющем краю неба горела, как капля серебряной воды, последняя звезда.

«С сегодняшнего дня, — подумала Маша, — буду жить совсем по-другому. Раньше я ничего не замечала как следует. А теперь буду всё замечать, запоминать и беречь у себя на сердце».

Лётчик оглянулся на Машу.

— Задумалась девушка, — пробормотал он, отвернувшись, но тотчас опять посмотрел на неё.

Он вспомнил слова из давно прочитанного романа, что нет ничего лучше на свете, чем глаза детей и девушек по утрам, — в них ещё темнеет ночь, но вместе с тем уже сверкает утренний свет.

«Пожалуй, это не так уж и глупо сказано», — подумал лётчик.

С мостика сбежал обветренный помощник капитана в брезентовом плаще.

— Не спите? — весело окликнул он Машу. — Через час отваливаем. Можете сойти на берег, прогуляться.

— Я, пожалуй, пойду, — сказала Маша лётчику. Нарву, кстати, цветов.

to know a lot more," he replied. "A land such as one does not even dream of."

"You feel like that because you're an airman," remarked Masha, "and the land under your wings is constantly changing."

"I don't think so," answered the airman and was silent for a long time. "Day is breaking," he said finally. "The horizon's already blue in the east. Where are you bound for?"

"Kamyshin."

"Yes, there is a town of that name on the Volga. Heat, water-melons, tomatoes...."

"And where are you going?"

"I'm going farther."

The airman leaned on the rail and watched the dawn flare up. The shepherd's piping now sounded nearer. A wind rose, blowing the mist before it and carrying it in wisps over the river. Now wet bushes and a hut made of willow branches were visible on the bank. Near the hut a fire was smoking.

Masha also watched the sunrise. The last star glittered like a drop of quicksilver on the gold-tinted edge of the sky.

"From today on," she thought, "I shall live quite differently. Until now I never really observed anything properly. Now I'll notice everything, remember and treasure everything in my heart."

The airman glanced at Masha.

"The girl's lost in thought," he murmured, and turned away, but immediately looked at her again.

He remembered a passage from a novel read a long time before: There is nothing finer in the world than the eyes of children and girls in the morning, still dark like the night, yet shining with the dawn.

"Not badly expressed, that," he thought.

The steamer's weather-beaten mate in tarpaulin coat ran down from the bridge.

"Not sleeping?" he called cheerfully to Masha. "It's an hour before we cast off, you could go and stretch your legs on the bank."

"I think I will," Masha said to the airman. "I'll pick some flowers."

— Ну что ж, — согласился лётчик, — пойдёмте.
Он сошли по шаткой сходне на берег. Из шалаша вышел старик, должно быть, тот самый, что сторожил ночью зарю. Тотчас над туманом взошло солнце.
Травы стояли вокруг темно-зелёные, как глухие, глубокие воды. От них ещё тянуло резким холодом ночи.
— Чем ты тут занимаешься, дед? — спросил старика лётчик.

— Корзинщик я, — ответил старик и виновато улыбнулся. — Плету помаленьку. Венгеря, корзины под колхозную картошку,* кошёлки... А вы что же? Лугами интересуетесь?

— Да вот хотим поглядеть.

— Во* какие быстрые! — засмеялся старик. — Я тут семьдесят годов* обитаю, в этом лугу, да и то всего не успел разглядеть. Ступайте вон по этой тропе до осокоря. Дале* не ходите. Дале трава выше головы — росой вас зальёт, за весь день не обсушитесь. Там росу можно в горлачи* собирать и пить.

— А ты её пил? — спросил лётчик.

— Как не пил? Целебная вещь.

Маша с лётчиком медленно пошла по тропе. Маша прошла несколько шагов до того места, где тропка огибала высохший осокорь, и остановилась.

По сторонам тропы высокими и крутыми стенами стоял шиповник и цвёл таким алым и влажным огнём, что даже ранний солнечный свет, падавший на листву, рядом с цветами шиповника казался холодным и бледным. Казалось, что цветы шиповника навсегда отделились от колючих веток и висят в воздухе, как яркое маленькое пламя. В зарослях шиповника озабоченно гудели шмели, чёрные с золотыми полосками на спине.

— Георгиевские кавалеры,* — заметил лётчик.

Действительно, шмели были похожи на коротенькие ленты от георгиевских медалей. И вели они себя бесстрашно, как старые бойцы, не обращая внимания на людей и даже сердца на них.

Кое-где заросли шиповника прерывались, и в прогалинах цвёл стройными свечами синий, почти до черноты, шпорник. За ним в неслыханной густоте вздымалось, переливаясь солнечной рябью, разнотравье; красная и

“Well then,” the airman agreed, “let’s go.”

They went down the shaking gangway to the bank. An old man came out of the hut, probably that same one who was guarding the dawn. The sun rose over the fog.

The grass all around was deep green, like still, deep waters. From it came the penetrating cold of night.

“What do you do here, Grandad?” the airman asked the old man.

“I’m a basket-maker,” the old man answered and smiled rather shamefacedly, “I do a bit of weaving now and then. Fishpots, baskets for the collective farm, bags, and so on. What about you? Interested in meadows?”

“Yes, we want to have a look.”

“How quick you are!” the old man laughed. “I have lived here for seventy years, in this very meadow, and even so I haven’t managed to see all there is. Go along that path up to the black poplar. No farther. Farther on the grass grows higher than your head. You’d get drenched with dew, you wouldn’t get dry in a day. There you can gather dew in a pitcher and drink it.”

“Have you drunk it?” asked the airman.

“Of course I have! It’s as good as medicine.”

Masha and the airman went slowly up the path. Masha walked the few steps to where the path curved round a dead poplar, and stopped.

On either side of the path sweetbriar bushes grew in high steep walls, blooming such a fiery, humid crimson that even the early sunlight on the leaves round about them seemed cold and pale. The briar blossoms seemed to have detached themselves for ever from the prickly branches, to be hanging in the air like small bright flames. Black bumble-bees, striped with gold, buzzed anxiously in the thickets.

“Knights of St. George,” remarked the airman.

Indeed the bumble-bees bore a resemblance to the short ribbon of the St. George Medal. And they, too, behaved fearlessly, like old warriors, heedless of people, even angry with them.

Here and there were gaps between the briar bushes, and in the glades bloomed blue, almost black, candle-like larkspur. Beyond this, in unprecedented profusion, the sunlight rippling over them, grew a variety of flowers: red and white

белая кашка, подмаренник, белоснежный поповник, дикая мальва с прозрачными на свету розовыми лепестками и сотни других цветов, чьи названия ни Маша, ни лётчик не знали.

Перепелá с треском вырывáлись из-под ног. Укрывшись в сырóm коряжнике, скрипел, насмеháясь над всеми, дергáч. Жáворонки, трепещá, подымáлись ввысь, но звон их почему-то не совпадáл с тем мéстом, где онí вились в нéбе, — он, казалось, доносился с реки. Там, прокáшлявшись, загудел парохóд, зазывáя Мáшу и лётчика обратнó.

— Что же это такое?* — говорила растерянно Маша, глядя на цветы. — Что же это такое?..

Она торопливо рвала обеими руками охапки цветов. Парохóд прогудел второй раз, уже требовательно и сердито.

— Ну что же это такое? — с досадой сказала Маша, повернувшись к тому месту, где над зарослями струился дым из парохóдной трубы, и крикнула: — Сейчас! Идём!

Онí быстро пошли к парохóду. Платье на Маше промокло и хлестáло её по ногáм. Кóсы, уложенные на затылке узлом, расплелись и упáли. Лётчик шёл сзади. На ходу он успел срезать ножом нéсколько цветущих веток шипóвника.

Матрóсы, дожидáвшиеся их, чтóбы снять сходы, мельком взгляну́ли на охапки цветов, сказа́ли:

— Вот это да!* Все лугá оборва́ли. Ну, давай, Семён, разом!

Помóщник капитáна сказа́л с мóстика:

— В салон несите цветы. Для всех пассажиров!.. — И крикнул в рупор: — Вперёд самый малый!

Тяжелó поверну́лись колёса, пли́цы вспенили во́ду, и берег отплыл, шумя́ кустáрником.

Мáше стало жаль расставáться с этим берегом, с лугáми, с шалашóm и дéдом-корзйнщиком. Всё как-то сразу стало ей здесь родным, бóдто она тут выросла, а этот дед был её пестунóm * и наставником.

«Удивительно, — подумала Маша, подымáясь по трапу в салон, — я ведь не знаю да́же, где, в какой области, в каком райóне, óколо ка́кого гóрода мы сейчас».

clover, catchweed, snow-white common chrysanthemums, wild mallow with its translucent pink petals, and hundreds of other flowers whose names neither Masha nor the airman knew.

A quail rose noisily from under their feet. Hidden in a damp hollow tree-stump a landrail screeched mockingly. Larks, quivering, soared into the air, but their song, for some reason, seemed to come not from where they hovered in the sky, but from the river. From the river, too, came the boat's spluttering horn calling Masha and the airman back.

“What a pity!” said Masha uncertainly, looking at the flowers. “What a pity!...”

She hastily plucked whole armfuls of flowers. The boat hooted again, this time peremptorily, vexedly.

“Oh dear!” said Masha regretfully. Turning to where smoke from the ship's funnel curled over the thickets, she shouted: “At once! Coming!”

They hurried to the boat. Masha's dress had got wet and was flapping against her legs. Her plaits, which had been coiled in a knot at the back of her head, had come undone and slipped down. The airman walked behind her. As he went he managed to cut several blossoming branches of sweetbriar.

The sailors waiting for them to pull in the gangway glanced swiftly at the armfuls of flowers and said:

“There's a bouquet for you, you must have stripped the meadow clean. Come on, Semyon, together!”

“Take the flowers into the saloon, for all the passengers!” called the first mate from the bridge. Then he shouted into the megaphone: “Slow ahead!”

The wheels turned heavily, the paddles churned up the water and the bank receded in the rustling of its bushes.

Masha felt sorry to leave the bank, the meadow, the hut and the old basket-maker. Everything had somehow become suddenly homely to her, as if she had grown up there and the old man had been her nurse and tutor.

“It's amazing,” thought Masha as she went up the companionway to the saloon. “I don't even know where we are now, in what district or region, or what town we are near.”

В салоне было чисто и холодно. Солнце ещё не прогрело полированные деревянные стены, столики и ореховое пианино.

Маша начала разбирать и расставлять цветы в вазах. Лётчик принёс с нижней палубы в ведре свежей воды.

— У моей матушки в Белозёрске, — сказал лётчик, помогая Маше расставлять цветы, — маленький сад. Но цветов груды. Особенно бархатцев.

— Вы хорошо отдохнули в Белозёрске? — спросила Маша.

— Ничего. Читал, приводил в порядок свою жизнь. А больше там и делать нечего, в Белозёрске.

— Как это «в порядок»? — удивилась Маша.

— Всё записал, что видел, делал и думал. Потом разобрался, правильно ли я жил, в чём ошибался, и подсчитал, чем меня жизнь одарила за последнее время.

— Ну и как?

— Позади всё теперь ясно. Можно со свежей головой жить дальше.

— Вот я и не знала, что так бывает, — промолвила Маша и внимательно посмотрела на лётчика.

— А вы попробуйте, — посоветовал, улынувшись, лётчик. — Сами удивитесь, какая у вас окажется наполненная жизнь.

— Bravo! — сказал за спиной Маши знакомый голос. Маша обернулась.

В дверях стоял актёр с мохнатым полотенцем на плече. На нём была синяя пижама с коричневыми отворотами на рукавах.

— Bravo! — повторил он. — Люблю утренние разговоры. По утрам наши мысли бывают такие же чистые как только что вымытые руки.

— Бросьте вы! — недовольно сказал лётчик.

— Да, всё это глупости! — согласился актёр. — Не гневайтесь. Я невольно подслушал ваш разговор и хочу добавить к нему одну частности. Одну неопровержимую истину. Я добрался до неё в самом, можно сказать, конце своей жизни.

— Какая же это великая истина? — спросил лётчик.

The saloon was cold and clean. The sun had not yet warmed its polished wainscotted walls, the tables, and the walnut piano.

Masha began to sort out the flowers and put them in vases. The airman brought some fresh water from the lower deck in a pail.

“My mother has a little garden in Belozyorsk,” he said, helping Masha to arrange the flowers. “But it has heaps of flowers. Especially marigolds.”

“Did you have a good leave in Belozyorsk?” she asked.

“Not bad. Read a lot, put my life in order. Nothing much else to do there in Belozyorsk.”

“What do you mean by ‘putting in order?’” she asked, surprised.

“I made notes of all I had seen, done and thought. Then I asked myself whether I had lived my life in the right way, where I had made mistakes, and what life had given me in the recent past.”

“Well, how did it work out?”

“The past is all clear now. I can go on living with an easy mind.”

“I didn’t know things like that happened,” said Masha and looked closely at him.

“Try it for yourself,” he suggested, smiling. “You’ll be surprised to discover how full your life is.”

“Bravo! Bravo!” said a familiar voice behind Masha. She turned round.

In the doorway stood the actor, a bath-towel over his shoulder. He was dressed in blue pyjamas with brown turn-ups to the sleeves.

“Bravo! Bravo!” he repeated. “I like early morning conversations. In the morning our thoughts are as clean as newly scrubbed hands.”

“Chuck that!” said the airman resentfully.

“You’re right, it’s all nonsense,” conceded the actor. “Don’t be angry. I accidentally overheard your conversation and I want to add one detail, one incontestable truth. I only arrived at it, I may say, at the very end of my life.”

“And what is that great truth?” asked the airman.

— «Я не люблю иронии твоей»,* — сказал актёр нарочитым жирным голосом плохого чтеца и рассмеялся. — Истина простая. В каждом дне жизни всегда есть что-нибудь хорошее. А подчас и поэтическое. И когда вы приводите в порядок, как вы изволили выразиться, свою жизнь, вы невольно вспоминаете главным образом это её поэтическое и разумное содержание. Это великолепно! И удивительно! Всё вокруг нас полно поэзии. Ищите её. Вот вам моё стариковское напутствие на веки веков. Не возражайте. Разговор окончен.

Актёр ушёл, посмеиваясь, а Маша задумалась над тем, что действительно всё окружающее её очень просто и вместе с тем необыкновенно. В Ленинграде, в институте, это было не так заметно, как сейчас, в поездке. Может быть, это и была та скрытая раньше, а сейчас открывшаяся ей доля поэзии, что заключена в каждом дне существования.

На Волге все дни дул ветер. По реке и по бортам парохода пролетала, переливаясь волнами, воздушная синева. Маше казалось, что ветер пронёс перед ней, играя, все эти летние дни, один за другим.

По вечерам ветер стихал. Река несла свои воды из тьмы во тьму. Только пароходные огни вырывали из этой черноты небольшой круг освещённой воды.

Маше было хорошо и временами грустно. Она никак не могла поверить, что новая её жизнь, начавшись так хорошо, может стать иной.

В Камышине Маша сошла. Ветер нёс над Волгой желтую мглу.

Лётчик и актёр вышли на пристань проводить Машу.

Маша растерянно попрощалась с лётчиком. Лётчик, не зная что делать, вернулся на пароход, остановился у борта и смотрел оттуда, как актёр прощается с Машей.

Актёр снял шляпу, взял Машины руки, посмотрел Маше в лицо прищуренными, смеющимися глазами.

— Вы будете счастливы, — сказал он. — Но моё счастье больше вашего. Потому что я старый человек.

— О чём вы говорите? — спросила Маша.

“I do not like that tone of irony,” said the actor in the exaggerated declamatory voice of a bad elocutionist. Then he laughed. “The truth is simple. In every day of one’s life there’s always something good. And sometimes even poetical. When you put your life in order, as you were pleased to put it, you cannot help remembering principally its poetic and rational content. That is magnificent! And surprising! Everything around us is full of poetry. Look for it. These are the parting words of an old man, for ever and ever. Don’t object. The question’s settled.”

The actor went off laughing and Masha mused over the fact that, indeed, everything around her was very simple, but at the same time strange. That had not been so apparent in Leningrad, at the Institute, as now, during this trip. Perhaps that was precisely her share of the poetry, formerly hidden from her, but now revealed, that is contained in every day of existence.

On the Volga the wind blew every day. Along the river and the sides of the ship airy blueness flowed in iridescent waves. To Masha it seemed the wind was sweeping before her, playfully, all those summer days, one after the other.

In the evening the wind would die down: The river rolled its waters from darkness back into darkness. Only the ship’s lights snatched out of the black of the night a small circular patch of illuminated water.

Masha was happy, but at times sad. She could not believe that her new life, which had begun so well, might become different.

In Kamyshin Masha left the steamer. The wind blew a yellow haze over the Volga.

Both the airman and the actor went down on to the pier to see her off.

Masha took an embarrassed leave of the airman. He, not knowing what to do, returned to the boat, stood by the side and from there watched the actor saying good-bye to Masha.

The actor took off his hat, held Masha’s hands, and looked at her with narrowed, laughing eyes.

“You will be happy,” he said, “but my happiness is greater than yours. Because I am an old man.”

“What are you talking about?” asked Masha.

— Вы не можете понять того счастья, какое дано молодым! — напыщенно сказал актёр. — Счастья видеть слёзы на глазах Дездемоны, любящей другого.

Он опустил Машины руки и, держа шляпу в руке, отступил к сходням. Пароход дал третий гудок и отвалил.

Ветер с реки, пахнувший нефтью, бил в лицо. Низенький седоусый старик топтался около Маши и вполголоса говорил: «Поднести вещицы, гражданочка*?» Но Маша не слышала его и не отвечала. Тогда низенький старик сел в сторонке на деревянную скамью и закурил — стал дожидаться, когда Маша, наконец, успокоится.

Через день Маша жила уже далеко от Камышина, в передвижном вагончике, стоявшем в степи, около пруда с глинистыми голыми берегами. В этом доме-вагончике — его называли «казёнкой»* — поселились работники колхозной лесной посадки.

Начальник участка оказался совсем не пльным и угрюмым, а, наоборот, очень подвижным и шутливым человеком. Но настроение на участке с первого же дня приезда Маши было беспокойное. Все волновались из-за новых желудей, присланных для посадки — взойдут ли? Волновались из-за суховья, приближавшегося с юго-востока, — там, за Волгой, уже залегла по горизонту стекловидная мгла. Слово «солончак» повторялось беспрерывно. Солончаки были самыми назойливыми и опасными врагами молодого леса — эти мёртвые лишай среди степей, эта жёлтая глина, блестящая на изломе белым отблеском соли.

Однажды Маша по совету лётчика проверила свою жизнь и обнаружила, что она резко делится на три части — жизнь в Ленинграде, поездку на пароходе и работу в приволжских степях. В каждом таком отрезке жизни было своё хорошее содержание и своя, как говорил старый актёр, поэзия.

В Ленинграде была комната, откуда был виден закат над Лактой, были подружки, институт, книги, театры и сады. В поездке Маша впервые поняла прелесть мимолётных, но глубоко задевающих душу встреч и прелесть речной привольной России. А здесь, в степи, она поняла великий смысл и силу своей работы.

“You cannot understand the happiness which is given to people no longer young,” said the actor pompously. “The happiness of seeing tears in the eyes of Desdemona in love with another.”

He let go Masha's hands and, hat in hand, went back to the gangway. The boat gave its third blast and cast off.

The wind from the river, smelling of oil, lashed her face. A little old man with a grey moustache hung around Masha and said in a low voice: “Carry your things, young lady?” But Masha did not hear him and made no answer. So the old man sat aside on a wooden bench and lit a cigarette, waiting for Masha to compose herself at last.

A day later Masha was already living far from Kamyshin in a trailer carriage on the steppe near a pond with bare clayey banks. In this caravan—they called it “kazyonka”—the collective farm afforestation workers had settled down.

The chief of the sector proved to be neither covered in dust nor grim, but, on the contrary, very lively and jolly. But from the very day of Masha's arrival the mood in the sector was anxious. All were worried about the acorns newly sent for planting, whether they would sprout. They were worried about the dry wind approaching from the south-east. Yonder over the Volga lay a glassy haze. The words “salt earth” were repeated without ceasing. This “salt earth”—dead patches in the middle of the steppes, yellow clay whose cracks shone with the snowy glitter of salt—was the most troublesome and dangerous enemy of young trees.

One day Masha took the airman's advice and checked her life. She found that it could be divided into three well-defined parts—her life in Leningrad, the trip on the steamer, and her work in the Volga steppes. Each period of her life had its good content, as the old actor had said, its poetry.

In Leningrad there had been the room from which the sun could be seen setting on the Lakhta; there had been her friends, the Institute, books, theatres and gardens. During her journey Masha had, for the first time, understood the charm of fleeting but deeply moving friendships, and the enchantment of the boundless Russian rivers. And now, in the steppe, she realized the great sense and meaning of her work.

И где-то в самой глубине сердца не умирала память о лётчике, о том, как он смущённо улыбнулся, пожаловавшись на соловьёв, как он смотрел на неё в Камышине с палубы парохода и щека у него вздрагивала, как и тогда, в Белозёрске. Человек прошёл мимо, и это было очень жаль.

Маша так часто вспоминала недавнюю поездку, что однажды она ей даже приснилась. Приснился густой шиповник в росе. Стояли сумерки. Молодой, нежный месяц, будто забытый жницей серебряный серп, лежал на синем пологие ночи. И было так тихо и легко на сердце, что Маша даже засмеялась во сне...

Лесные посадки зеленоватой мелкой рекой переливались через взгорья и уходили в сухие степи, где курилась над широкими шляхами красноватая пыль.

Было много работы. Надо было рыхлить землю между молодыми дубками, сажать акацию. Маша делала это с особой заботой, даже с нежностью к молоденьким деревцам.

Маша загорела. Косы её выцвели от солнца. Она стала похожа на степную девочку. Платье, руки, всё вокруг пропахло полынью. Полынью пахло даже от мохнатой шкуры чёрного пса Нарзана, сторожившего вагончик, когда все сотрудники уходили в степь на работу.

Сторожили вагончик Нарзан и мальчик семь лет, Стёпа,* сын начальника участка.

Весь день они сидели вдвоём в тени вагончика и слушали свист сусликов и шум ветра в корявой дикой груше. Она звенела так сильно, будто литая из бронзы.

К концу лета на посадки напали тушканчики. Они рыли ямки около дубков и катались в этих ямках в пыли, чтобы избавиться от блох. Из Сталинграда* вызвали самолёт «огорбник», чтобы разбросать на посадки отравленный овёс.

Однажды вечером, когда Стёпа сидел на ступеньках вагончика и чистил картошку, Нарзан поднял голову и зарычал. Низко над степью со стороны заходящего солнца летел, лениво погромыхивая мотором, маленький самолёт.

Somewhere deep down in her heart there still lived the memory of the airman, how he has embarrassedly smiled as he complained of the nightingales, how he had looked at her from the deck of the boat in Kamyshin, how his cheeks had twitched then in the same way as in Belozyorsk. A man had passed by, and that was a great pity.

Masha so often remembered her recent trip that once she even dreamed about it. She saw the dense sweet briar bathed in dew. It was dusk, and the young slender moon, like a silver sickle forgotten by the reapers, lay on the dark curtain of night. And it was so quiet and light in her heart that Masha laughed out loud in her sleep....

The newly planted trees like a shallow green river flowed over the hills and far away into the arid steppes where reddish dust swirled above the broad paths.

There was a lot of work. The soil between the young oaks had to be loosened, acacias planted. Masha did this with solicitude and even a tenderness for the young trees.

Masha had become sun-tanned, her plaits bleached by the sun. She had come to resemble a girl of the steppes. Her dress, hands, and everything about her smelled strongly of wormwood. Even the shaggy coat of Narzan, the black watchdog who stayed behind to guard the carriage when all the workers went out to the steppes, smelled of wormwood.

The carriage was guarded by Narzan and Styopa, a boy of seven. He was the chief's son.

All day long they sat both together in the shade of the carriage listening to the whistling of gophers and to the noise of the wind in a twisted wild pear-tree. It rang as if cast in bronze.

Towards the end of the summer the trees were attacked by jerboas. They burrowed holes near the trees and rolled in them to rid themselves of fleas. A call was sent to Stalingrad for the "gardener" plane to come and scatter poisoned oats over the plantation.

One evening as Styopa sat on the steps of the carriage peeling potatoes, Narzan raised his head and began to growl. A small plane, chugging lazily, was flying low over the steppe from the direction of the setting sun.

Он пролетел над вагончиком, круто завернул, сел в сухую траву и, пробежав несколько шагов, остановился.

Из кабины вышел лётчик и пошёл, сняв шлем, к вагончику. Лётчик был ещё молодой, но виски у него были седые. На куртке лётчика Стёпа увидел две полоски орденских ленточек.

Нарзан, вместо того чтобы обляять лётчика, залез под вагончик и начал там незаметно рычать.

— Здравствуй, мальчик! — сказал лётчик, сел рядом со Стёпой на ступеньки и закурил. — Это пятнадцатый участок?

— Да, — робко ответил Стёпа. — Вы к нам?

— К вам. Тушканчиков буду травить...

— Вот сколько у вас орденов, — сказал, подумав, Стёпа, — а вы тушканчиков травите. Мы думали, что к нам пришлёт лётного ученика.

— Я сам напросился к вам, мальчик, — ответил лётчик и помолчал. — Маша Климова здесь работает?

— Здесь, — ответил Стёпа и прищурился. — А что?

— А где она?

— Там, в лесу, — Стёпа махнул рукой в сторону посадок.

— Действительно, лес! — засмеялся лётчик, встал и пошёл, не оглядываясь, к посадкам.

Стёпа смотрел ему вслед. Уже стемнело, и плохо было видно в степи. Но всё же Стёпа увидел, как шла из степи Маша. Лётчик быстро пошёл ей навстречу, но Маша до лётчика не дошла, она остановилась и закрыла лицо руками.

Было уже совсем темно. Над прудом повисла, заглядывая в чёрную воду с огромной своей высоты, бродячая степная звезда.

«Зачем Маша закрыла лицо руками?» — подумал Стёпа и повторил шуточные слова, какие часто говорил о Маше его отец:

— Она у нас чудачка!

А Нарзан всю ночь рычал из-под вагончика на самолёт, мирно дремавший на сухой, тёплой земле.

It flew over the carriage, made a sharp turn, landed on the dry grass and, after a short run, stopped.

The pilot got out of the cockpit and, taking off his helmet walked up to the caravan. He was still young, though his temples were grey. On his jacket Styopa saw two rows of medal ribbons.

Narzan, instead of barking at the pilot, crawled under the carriage and began to growl softly.

“Hullo, boy,” said the pilot, sitting down beside Styopa on the steps and lighting a cigarette. “Is this sector No. 15?”

“Yes,” said Styopa timidly. “Have you come to us?”

“Yes, I’m going to exterminate the jerboas.”

“You have so many Orders,” said Styopa after a moment’s thought, “and you exterminate jerboas. We thought they’d send us a student pilot.”

“I myself asked to be sent here, my boy,” said the pilot and was silent a while. “Does Masha Klimova work here?”

“Yes,” answered Styopa, screwing up his eyes. “Why?”

“Where is she?”

“Over there, in the woods,” Styopa waved a hand towards the plantation.

“Woods, indeed!” laughed the pilot. He got up and went off in that direction without a look back.

Styopa watched him go. It was growing dark, and visibility was bad in the steppes. But all the same Styopa saw Masha walking home. The pilot went quickly towards her, but Masha stopped before coming up to him and hid her face in her hands.

Now it was quite dark. Above the pond a stray steppe star gazed into the black water from its great height.

“Why did Masha hide her face in her hands?” Styopa wondered, and then he repeated the playful words which his father often said about Masha:

“A funny girl!”

And all night long Narzan growled from under the carriage at the plane drowsing peacefully on the dry, warm earth.

СТАРЫЙ ПОВАР

В один из зимних вечеров 1786 года на окраине Вены в маленьком деревянном доме умирал слепой старик — бывший повар графини Тун. Собственно говоря, это был даже не дом, а ветхая сторожка, стоявшая в глубине сада. Сад был завален * гнилыми ветками, сбитыми ветром. При каждом шаге ветки хрустели, и тогда начинал тихо ворчать в своей будке цепной пёс.* Он тоже умирал, как и его хозяин, от старости и уже не мог лаять.*

Несколько лет назад повар ослеп от жара печей. Управляющий графини поселил его с тех пор в сторожке и выдавал ему время от времени несколько флоринов.

Вместе с поваром жила его дочь Мария, девушка лет восемнадцати.* Всё убранство сторожки составляли кровать, хромые скамейки, грубый стол, фаянсовая посуда, покрытая трещинами, и, наконец, клавесин — единственное богатство Марии.

Клавесин был такой старый, что струны его пели * долго и тихо в ответ на все возникавшие вокруг звуки. Повар, смеясь, называл клавесин «сторожем своего дома». Никто не мог войти в дом без того, чтобы клавесин не встретил его дрожащим, старческим гулом.

Когда Мария умыла умирающего и надела на него холодную чистую рубашку, старик сказал:

— Я всегда не любил * священников и монахов. Я не могу позвать исповедника, между тем мне нужно перед смертью очистить свою совесть.

— Что же делать? — испуганно спросила Мария.

— Выйди на улицу, — сказал старик, — и попроси первого встречного зайти в наш дом, чтобы исповедать умирающего. Тебе никто не откажет.

— Наша улица такая пустынная... — прошептала Мария, нагнула платок и вышла...

Она пробежала через сад, с трудом открыла заржавленную калитку и остановилась. Улица была пуста. Вё-

THE OLD COOK

One winter evening in 1786, an old blind man, the former cook of Countess Thun, lay dying in a small wooden house on the outskirts of Vienna. Properly speaking, it was not even a house, but a tumble-down lodge standing at the bottom of a garden. All over the garden were rotten branches blown down by the wind. They cracked at every step, and then the old watchdog in its kennel would begin to growl softly. It too was dying of old age like its master, and could no longer bark.

A few years earlier the cook had been blinded by the heat of the ovens. Then the countess's steward moved him to the lodge and used to pay him a few florins from time to time.

With the cook lived his daughter, Maria, a girl of about eighteen. All the furniture of the lodge consisted of a bed, some rickety benches, a rough table, some cracked earthenware crockery and, finally, a harpsichord, Maria's only treasure.

The harpsichord was so old that its strings echoed softly for a long time any sounds produced around it. The cook jokingly called the harpsichord the watchman of his house. Nobody could enter the house without being greeted by the harpsichord with its trembling senile rumble.

When Maria had washed the dying man and put on him a cold clean shirt, the old man said:

"I have always disliked priests and monks. I cannot call a confessor, yet I must purify my conscience before death."

"What must I do?" Maria asked with fear in her voice.

"Go out into the street," said the old man, "and ask the first person you meet to come into our house to hear a dying man's confession. Nobody will refuse you."

"Our street is so unfrequented," Maria whispered. She threw a shawl over her and went out.

She ran through the garden, opened with difficulty the rusty gate, and stopped. The street was empty. The wind

тер нес по ней листья, а с тёмного неба падали холодные капли дождя.

Мария долго ждала и прислушивалась. Наконец ей показалось, что вдоль ограды идёт и напевает человек. Она сделала несколько шагов ему навстречу, столкнулась с ним и вскрикнула. Человек остановился и спросил: — Кто здесь?

Мария схватила его за руку и дрожащим голосом передала просьбу отца.

— Хорошо, — сказал человек спокойно. — Хотя я не священник, но это всё равно.* Пойдёмте.

Они вошли в дом. При свече Мария увидела худого маленького человека. Он сбросил на скамейку мокрый плащ. Он был одет с изяществом и простотой — огонь свечи поблёскивал на его чёрном камзоле, хрустальных пуговицах и кружевном жабо.

Он был ещё очень молод, этот незнакомец. Совсем по-мальчишески он потрянул головой, поправил напудренный парик, быстро придвинул к кровати табурет, сел и, наклонившись, пристально и весело посмотрел в лицо умирающему.

— Говорите! — сказал он. — Может быть, властью, данной мне не от бога, а от искусства, которому я служу, я облегчу ваши последние минуты и сниму тяжесть с вашей души.

— Я работал всю жизнь, пока не ослеп, — прошептал старик и притянул незнакомца за руку поближе к себе. — А кто работает, у того нет времени грешить. Когда заболела чахоткой* моя жена — её звали Мартой* — и лекарь* прописал ей разные дорогие лекарства и приказал кормить её сливками и винными ягодами и пить горячим красным вином, я украд из сервиза графини Тун маленькое золотое блюдо, разбил его на куски и продал. И мне тяжело теперь вспоминать об этом и скрывать от дочери: я её научил не трогать ни пылинки с чужого стола.

— А кто-нибудь из слуг графини пострадал за это? — спросил незнакомец.

— Клянусь, сударь,* никто, — ответил старик и заплакал. — Если бы я знал, что золото не поможет моей Марте, разве я мог бы украсть!

— Как вас зовут? — спросил незнакомец.

was driving leaves along it, and cold raindrops were falling from the dark sky.

For a long time Maria waited and listened. Soon she seemed to hear a man coming along by the fence, humming. She took a few steps towards him, bumped into him, and cried out. The man stopped and asked: "Who's that?"

Maria seized him by the arm and conveyed her father's request in a trembling voice.

"Very well," said the man calmly. "I am not a priest, but that does not matter. Let us go."

They entered the house. In the candle-light Maria saw a small thin man. He threw off his wet cloak on to a bench. He was dressed with elegance and simplicity—the flame of the candle gleamed on his black just-au-corps, cut-glass buttons and lace jabot.

He was still very young, this stranger. He shook his head quite boyishly, arranged his powdered wig, quickly moved a stool towards the bed, sat down, and, bending over, looked intently and merrily into the dying man's face.

"Speak!" he said. "Perhaps by the power given to me not by God but by the art I serve, I shall ease your last minutes and remove the weight from your soul."

"I worked all my life until I became blind," the old man whispered, drawing the stranger nearer by the hand. "And one who works has no time to sin. When my wife—her name was Martha—took ill with consumption and the physician prescribed for her various expensive medicines and ordered that she should be given cream and figs to eat and hot red wine to drink, I stole a small gold dish from Countess Thun's dinner set, broke it into pieces and sold it. It is painful for me to think of that now and to hide it from my daughter: I taught her not to touch even a speck of dust from anybody else's table."

"And did any of the countess's servants suffer for that?" asked the stranger.

"I swear, sir, nobody did," the old man replied, and he began to weep. "Could I have stolen if I had known that gold would not help my Martha?"

"What is your name?" inquired the stranger.

— Иогáнн Мейер, сýдарь.

— Так вот, Иогáнн Мейер, — сказа́л незнако́мец и положи́л ладо́нь на слепы́е глаза́ старика́, — вы неви́нны пе́ред людьми́. То, что вы соверши́ли, не есть грех и не явля́ется кра́жей, а, наоборот, мо́жет быть зачтено́ вам как по́двиг любви́.

— Ами́нь! — прошепта́л старик.

— Ами́нь! — повто́рил незнако́мец. — А тепе́рь скажи́те мне ва́шу последнюю́ во́лю.

— Я хочу́, что́бы кто́-нибудь позабо́тился о Мари́и.

— Я сде́лаю это́. А ещё, чего́ вы хоте́те?

Тогда́ умира́ющий неожида́нно улыбу́лся и гро́мко сказа́л: — Я хоте́л бы ещё́ раз уви́деть Ма́рту тако́й, како́й встрети́л её́ в мо́лодости. Уви́деть со́лнце и э́тот ста́рый сад, когда́ он зацвете́т весной. Но э́то невозмо́жно, сýдарь. Не сердитесь на меня́ за глупы́е слова́. Бо́лезнь, должно́ быть, совсе́м сб́ила меня́ с то́лку.

— Хорошо́, — сказа́л незнако́мец и встал. — Хорошо́, — повто́рил он, подоше́л к клавеси́ну и сел пе́ред ним на табуре́т. — Хорошо́! — гро́мко сказа́л он в тре́тий раз, и внеза́пно бы́стрый звон рассы́пался по сто́рójке, как бу́дто на пол броси́ли со́тни хруста́льных ша́риков.*

— Слу́шайте, — сказа́л незнако́мец. — Слу́шайте и смотре́йте.

Он заигра́л. Мари́я воспомина́ла пото́м лицо́ незнако́мца, когда́ пе́рвый кла́виш прозвуча́л под его́ руко́й. Необыкнове́нная бле́дность покрýла его́ лоб, а в потемне́вших глаза́х кача́лся язычо́к свечи́.

Клавеси́н пел по́льным го́лосом впервые́ за мно́гие го́ды. Он наполня́л своими́ зву́ками не то́лько сторо́жку, но и весь сад. Ста́рый пёс вы́лез из бу́дки, сиде́л, склонив го́лову на́бок, и, насто́рожившись, тихо́нько пома́хивал хвостом. Нача́л идти́ мо́крым снего́м, но пёс то́лько потря́хивал уша́ми.

— Я ви́жу, сýдарь! — сказа́л старик и приподня́лся на кровáти. — Я ви́жу день, когда́ я встрети́лся с Ма́ртой и она́ от смущения́ разби́ла кувши́н с молоко́м. Э́то бы́ло зимо́й, в гора́х. Не́бо сто́яло прозра́чное, как синее́ стекло́, и Ма́рта смея́лась. Смея́лась, — повто́рил он, прислу́шиваясь к журча́нию струн.

Незнако́мец игра́л, глядя́ в че́рное окно́.

“Johann Meyer, sir.”

“Well then, Johann Meyer,” the stranger said, laying the palm of his hand on the old man’s blind eyes, “you are innocent before men. What you did is not a sin, nor is it a theft. On the contrary, it may be credited to you as a feat of charity.”

“Amen!” whispered the old man.

“Amen!” repeated the stranger. “And now tell me your last will.”

“I want somebody to take care of Maria.”

“I shall do that. What else do you wish?”

Then the dying man smiled unexpectedly and said in a loud voice: “I should like to see Martha once more as she was when I met her in our youth. To see the sun and this old garden when it blooms in spring. But that is impossible, sir. Don’t be angry with me for my stupid words. My illness must have got me all muddled up.”

“Good,” said the stranger, rising. “Good,” he repeated, and he went to the harpsichord and sat on the stool in front of it. “Good,” he said for the third time in a loud voice, and suddenly a rapid tinkling scattered through the lodge, as though hundreds of small crystal balls had been thrown on the floor.

“Listen,” said the stranger. “Listen and look.”

He began to play. Afterwards Maria remembered the stranger’s face as the first key sounded under his touch. An unusual paleness spread over his brow and the flame of the candle flickered in his darkened eyes.

The harpsichord sounded in all its richness for the first time for many years. It filled with its tones not only the lodge, but the whole garden too. The old dog crept out of its kennel, remained sitting with its head inclined to one side, and pricking up its ears, gently wagged its tail. Wet snow began to fall, but the dog only twitched its ears.

“I see, sir!” the old man said, half rising from the bed. “I see the day when I met Martha and in embarrassment she broke the jug with the milk in it. It was in winter, in the mountains. There was a transparent sky like blue glass, and Martha was laughing. Laughing,” he repeated, listening to the ripple of the chords.

The stranger was playing, looking out of the dark window.

— А тепёрь, — спросил он, — вы видите что-нибудь? Старик молчал, прислушиваясь.

— Неужели вы не видите, — быстро сказал незнакомец, не переставая играть, — что ночь из чёрной сделалась синей, а потом голубой, и тёплый свет уже падает откуда-то сверху, и на старых ветках ваших деревьев распускаются белые цветы. По-моему, это цветы яблони, хотя отсюда, из комнаты, они похожи на большие тюльпаны. Вы видите: первый луч упал на каменную ограду, нагрел её, и от неё подымается пар. Это, должно быть, высыхает мох, наполненный растаявшим снегом. А небо делается всё выше, всё синей, всё великолепнее, и стаи птиц уже летят на север над нашей старой Веной.

— Я вижу всё это! — крикнул старик.

Тихо проскрипела педаль, и клавесин запел* торжественно, как будто пел не он, а сотни ликующих голов.

— Нет, сударь, сказала Мария незнакомцу, — эти цветы совсем не похожи на тюльпаны. Это яблони распустылись за одну только ночь.

— Да, ответил незнакомец, — это яблони, но у них очень крупные лепестки.

— Открой окно, Мария, — попросил старик.

Мария открыла окно. Холодный воздух ворвался в комнату. Незнакомец играл очень тихо и медленно.

Старик упал на подушки, жадно дышал и шарил по одеялу руками. Мария бросилась к нему. Незнакомец перестал играть. Он сидел у клавесина не двигаясь, как будто заколдованный собственной музыкой.

Мария вскрикнула. Незнакомец встал и подошёл к кровати. Старик сказал, задыхаясь:

— Я видел всё так ясно, как много лет назад. Но я не хотел бы умереть и не узнать... имя. Имя!

— Меня зовут Вольфганг Амедей Моцарт,* — ответил незнакомец.

Мария отступила от кровати и низко, почти касаясь коленом пола, склонилась перед великим музыкантом.

Когда она выпрямилась, старик был уже мёртв. Заря разгоралась за окнами, и в её свете стоял сад, засыпанный цветами мокрого снега.

“And now,” he asked, “do you see anything?”

The old man remained silent, listening attentively.

“Can you really not see,” the stranger said rapidly, not ceasing to play, “that from black the night has turned dark blue, then pale blue, and warm light is already falling from somewhere above, and white blossoms are opening out on the old branches of your trees? In my opinion they are apple blossoms, although from here in the room they are like big tulips. See, the first ray has fallen on the stone enclosure, warming it, and vapour is rising from it. It must be the moss, filled with melted snow, drying. The sky is getting higher and higher, becoming bluer and bluer, more and more splendid, and flocks of birds are already flying northward over our old Vienna.”

“I can see all that!” the old man cried.

The pedal creaked softly and the harpsichord sounded festively as though the music came not from it, but from hundreds of exultant voices.

“No, sir,” Maria said to the stranger. “Those flowers are not at all like tulips. It is the apple-trees that have blossomed in a single night.”

“Yes,” replied the stranger, “it’s the apple-trees, but they have very large petals.”

“Open the window, Maria,” the old man requested.

Maria opened the window. Cold air burst into the room. The stranger played very softly and slowly.

The old man fell back on to the pillow. He was breathing greedily, his hands groping on the blanket. Maria rushed towards him. The stranger ceased playing. He sat by the harpsichord, motionless as though spell-bound by his own music.

Maria cried out. The stranger rose and approached the bed. The old man said, gasping for breath:

“I saw everything as clearly as many years ago. But I should not like to die not having found out ... your name. Your name!”

“My name is Wolfgang Amadeus Mozart,” replied the stranger.

Maria moved back from the bed and bowed low, her knee almost touching the ground, before the great musician.

When she drew herself up, the old man was already dead. Dawn flared outside the windows, and in its light the garden lay, scattered with flowers of wet snow.

СНЕГ

Старик Потáпов умер через месяц после того, как Татьяна Петровна* поселилась у него в доме. Татьяна Петровна осталась одна с дочерью Варей и старухой нянькой.

Маленький дом — всего в три комнаты — стоял на горе, над северной рекой, на самом выезде из городка. За домом, за облетевшим садом,* белела берёзовая роща. В ней с утра до сумерек кричали галки, носились тучами над голыми вершинами, накликали ненастье.

Татьяна Петровна долго не могла привыкнуть после Москвы к пустынному городку, к его домишкам,* скрипучим калиткам, к глухим вечерам, когда было слышно, как потрескивает в керосиновой лампе огонь.

«Какая я дура! — думала Татьяна Петровна. — Зачем уехала из Москвы, бросила театр, друзей! Надо было отвезти Варю к няньке в Пушкино — там не было никаких налётов, — а самой остаться в Москве. Боже мой, какая я дура!»

Но возвращаться в Москву было уже нельзя. Татьяна Петровна решила выступать* в лазаретах* — их было несколько в городке — и успокоилась. Городок начал ей даже нравиться, особенно, когда пришла зима и завалила его снегом. Дни стояли мягкие, серые. Река долго не замерзала; от её зелёной воды поднимался пар.

Татьяна Петровна привыкла и к городку и к чужому дому. Привыкла к расстробенному роялю,* к пожелтевшим* фотографиям на стенах, изображавшим неуклюжие броненосцы береговой обороны. Старик Потáпов был в прошлом корабельным механиком. На его письменном столе с выцветшим зелёным сукном стояла модель крейсера «Громобой», на котором он плывал. Варя не позволяли* трогать эту модель. И вообще не позволяли ничего трогать.

SNOW

Old man Potapov died a month after Tatiana Petrovna had settled in his house. Tatiana was left alone with her daughter Varya and the old nurse.

The small house—three rooms in all—stood on a hill over a northern river, right on the road out of a small town. Behind the house, on the other side of a leafless garden, a birch grove showed white. From morning till dusk jackdaws screeched in it and flew over the bare tree-tops, heralding bad weather.

After Moscow Tatiana was unable for a long time to get used to the deserted townlet, its small houses, creaking gates and quiet evenings, when you could hear the flame of the petroleum lamp crackling.

“How stupid I am!” she thought. “Why did I leave Moscow, give up the theatre and my friends? I should have taken Varya to her nurse in Pushkino—there were no air raids there—and stayed in Moscow myself. Good gracious, how stupid I am!”

But it was no longer possible to return to Moscow. Tatiana decided to give performances at military hospitals—there were several in the townlet—and set her mind at rest. She even began to like the small town, especially when winter came and covered it with snow. The weather was mild and grey. The river did not freeze for a long time, vapour rose from its green water.

Tatiana grew accustomed to the small town and to the house which was not hers. She got used to the piano, which was out of tune, to the yellow photographs of clumsy ironclad coastal defence ships on the walls. The old Potapov had been a ship's engineer. On his desk covered with faded green baize was a model of the cruiser *Gromoboi*, on which he had sailed. Varya was not allowed to touch the model. In general she was not allowed to touch anything.

Татьяна Петровна знала, что у Потопова остался сын моряк, что он сейчас в Черноморском флоте. На столе рядом с моделью крейсера стояла его карточка. Иногда Татьяна Петровна брала её, рассматривала и, нахмурив тонкие брови, задумывалась. Ей всё казалось, что она где-то его встречала, но очень давно, ещё до своего неудачного замужества. Но где? И когда?

Моряк смотрел на неё спокойными, чуть насмешливыми глазами, будто спрашивал: «Ну что ж? Неужели вы так и не припомните,* где мы встречались?»

— Нет, не помню, — тихо отвечала Татьяна Петровна.

— Мама, с кем ты разговариваешь? — кричала из соседней комнаты Вarya.

— С роялем, — смеялась в ответ Татьяна Петровна.

Среди зимы начали приходиться письма на имя* Потопова, написанные одной и той же рукой. Татьяна Петровна складывала их на письменном столе. Однажды ночью она проснулась. Снега тускло светили в окна. На диване всхрапывал серый кот* Архип, оставшийся в наследство от Потопова.

Татьяна Петровна накинула халат, пошла в кабинет к Потопову, постояла у окна. С дерева беззвучно сорвалась птица, стряхнула снег. Он долго сыпал белой пылью, запорошил стекла.

Татьяна Петровна зажгла свечу на столе, села в кресло, долго смотрела на язычок огня, — он даже не вздрогивал. Потом она осторожно взяла одно из писем, распечатала и, оглянувшись, начала читать.

«Милый мой старик, — читала Татьяна Петровна, — вот уже месяц, как я лежу в госпитале. Рана не очень тяжёлая. И вообще она заживает. Ради бога, не волнуйся и не кури папиросу за папиросой. Умоляю!»

«Я часто вспоминаю тебя, папа, — читала дальше Татьяна Петровна, — и наш дом, и наш городок. Всё это страшно далеко, как будто на краю света. Я закрываю глаза и тогда вижу: вот я отворяю калитку, вхожу в сад. Зимá, снег, но дорожка к старой беседке над обрывом расчищена, а кусты сирени все в инее. В комнатах трещат печи. Пахнет берёзовым дымом. Рояль, наконец, настроен, и ты встал в подсвечники витье жёлтые свечи — те, что я привёз из Ленинграда. И те

Tatiana knew that Potapov had left a son who was a sailor, now in the Black Sea Fleet. His photo was on the desk beside the model of the cruiser. Sometimes Tatiana would pick it up, look at it and, knitting her brows, get lost in thought. It always seemed to her that she had met him somewhere, a long time ago, before her unsuccessful marriage. But where? And when?

The sailor looked at her with calm, somewhat mocking eyes as though asking, Well then? Can you really not remember where we met?

“No, I can’t,” she replied in a low voice.

“Mum, who are you talking to?” Varya shouted from the next room.

“To the piano,” Tatiana laughed in reply.

In the middle of the winter, letters began coming, addressed to Potapov, all written in the same hand. Tatiana put them all together on the desk. Once she woke up during the night. The snow shone dimly through the windows. Arkhip, the tom-cat inherited from Potapov, was snoring on the sofa.

Tatiana slipped on a housecoat, went into Potapov’s study and stood a while by the window. A bird flew noiselessly from a tree and shook off the snow, which scattered for a long time like white dust and powdered the window-panes.

Tatiana lit a candle on the desk, sat down in an arm-chair and gazed for a long time at the small tongue of flame—it did not even tremble. Then she carefully picked up one of the letters, opened it and, after a look over her shoulder, began to read.

“Dear old father,” she read, “I have already been lying in hospital for a month. My wound is not very serious. And in general it is healing. For goodness’ sake don’t worry and don’t smoke cigarette after cigarette. I beseech you!”

“I often remember you, Dad, our house and our little town,” Tatiana read on. “It’s all terribly far away, as though at the world’s edge. I close my eyes, and this is what I see then: there am I, opening the gate. I enter the garden. It is winter, there is snow, but the path to the old bower over the bluff is cleared and the lilac bushes are all covered with hoar frost. The stoves crackle in the rooms. It smells of birch-wood smoke. The piano has been tuned at last and you have placed twisted yellow candles—the ones I brought

же нóты * лежáт на рояле: увертюра к «Пйковой дáме» * и ромáнс «Для берегов отчйзны дáльной» *. Звонит ли колокольчик у дверей? Я так и не успел его починить. Неужели я всё это увижу опять? Неужели опять буду умываться с дорóги * нáшей колодезной водóй из кувшина? Пóмнишь? Эх, если бы ты знал, как я полюбил всё это отсюда, издали! Ты не удивляйся, но я говорю тебе совершенно серьёзно: я вспоминал об этом в самые страшные минуты бóя. Я знал, что защищаю не только всю страну, но и вот этот её маленький и самый милый для меня уголок * — и тебя, и наш сад, и вихрастых наших мальчишек, и берёзовые рощи за рекой, и даже котá Архипа. Пожалуйста, не смейся и не качай головой.

Мóжет быть, когда выпишусь из госпиталя, меня отпустят ненадолго домой. Не знаю. Но лучше не жди.

Татьяна Петровна долго сидела у стола, смотрела широко открытыми глазами за окно, где в густой синеве начинался рассвет, думала, что вот со дня на день * может приехать с фронта в этот дом незнакомый человек и ему будет тяжело встретить здесь чужих людей и увидеть всё совсем не таким, каким он хотел бы увидеть.

Утром Татьяна Петровна сказала Вáре, чтобы она взяла деревянную лопату и расчистила дорожку к беседке над обрывом. Беседка была совсем ветхая. Деревянные её колонки поседели, заросли лишаями. А сама Татьяна Петровна исправила колокольчик над дверью. На нём была отлита смешная надпись. «Я вишу у дверей — звони веселей!» Татьяна Петровна тронула колокольчик. Он зазвенел высоким голосом. * Кот Архип недобольно задёргал ушами, обиделся, ушёл из прихожей: весёлый звон колокольчика казался ему, очевидно, нахальным.

Днём Татьяна Петровна, румяная, шумная, с потемневшими от волнения глазами, привела из города старика настройщика, обрусевшего чеха, занимавшегося починкой примусов, керосинок, кукол, гармоник и настройкой роялей. Фамилия у настройщика была очень смешная: Невидал. * Чех, настроив рояль, сказал, что рояль старый, но очень хороший. Татьяна Петровна и без него это знала.

from Leningrad—in the candlesticks. The same music sheets are lying on the piano: the overture to the “Queen of Spades” and the song “Bound for the shores of the distant fatherland”. Does the little bell at the door ring? I did not have time to mend it after all. Shall I really see all that again? Shall I really wash again after my journey with a jug of well-water? Do you remember? Oh, if you knew how I have come to love all that from here, far away! Don’t be surprised, I am speaking to you quite seriously: I remembered all this at the most fearful moments of battle. I knew that it was not only the country as a whole that I was defending, but that little corner, which is dearest of all to me, and you, our garden, our shock-headed youngsters, the birch-groves across the river and even Arkhip the cat. Please don’t laugh, and don’t shake your head.

“Maybe they’ll let me home for a short while when I am discharged from hospital. I don’t know. You had better not expect me.”

Tatiana sat for a long time at the desk, looking wide-eyed out of the window where dawn was breaking deep blue. She was thinking that any day that unknown man could arrive home from the front and that it would be painful for him to meet outsiders in the house and to see everything quite different from what he would like to see it.

Next morning Tatiana told Varya to get a wooden spade and clean the path to the bower over the bluff. The bower was quite decrepit. Its wooden posts had become grey and overgrown with lichens. Tatiana herself mended the bell over the door. Moulded on it was the amusing inscription: I hang by the door, ring merrily! Tatiana touched the bell. It rang with a shrill note. Arkhip the cat twitched his ears in displeasure, took offence and left the entrance hall. Apparently the bell’s merry tinkle struck him as impertinent.

During the day Tatiana, rosy-cheeked and noisy, her eyes dark with excitement, brought from town an old piano tuner, a Russianised Czech who, besides tuning pianos, mended primus stoves, petroleum cookers, dolls, and accordions. His name was very funny—Nevidal. When he had tuned the piano, the Czech said it was old, but very good. Tatiana knew that without his telling her.

Когда он ушёл, Татьяна Петровна осторожно заглянула во все ящики письменного стола и нашла пачку втих толстых свечей. Она вставила их в подсвечники на рояле. Вечером она зажгла свечи, села к роялю, и дом наполнился звоном.

Когда Татьяна Петровна перестала играть и погасила свечи, в комнатах запахло сладким дымом, как бывает на ёлке.*

Варя не выдержала.

— Зачем ты трогает чужие вещи? — сказала она Татьяне Петровне. — Мне не позволяешь, а сама трогает? И колокольчик, и свечи, и рояль — всё трогает. И чужие ноты на рояль положила.

— Потому что я взрослая, — ответила Татьяна Петровна.

Варя, насупившись, недоверчиво взглянула на неё. Сейчас Татьяна Петровна меньше всего походила на взрослую. Она вся как будто светилась и была больше похожа на ту девушку с золотыми волосами, которая потеряла хрустальную туфлю* во дворце. Об этой девушке Татьяна Петровна сама рассказывала Варе.

Ещё в поезде лейтенант Николай Потопов высчитал, что у отца ему придётся пробыть не больше суток. Отпуск был очень короткий, а дорога отнимала всё время.

Поезд пришёл в городок днём. Тут же на вокзале, от знакомого начальника станции лейтенант узнал, что отец его умер месяц назад и что в их доме поселилась с дочерью молодая певица из Москвы.

— Эвакуированная, — сказал начальник станции.

Потопов молчал, смотрел за окно, где бежали с чайниками пассажиры в ватниках, в валенках. Голова у него кружилась.

— Да, — сказал начальник станции, — хорошей души был человек.* Так и не довелось ему повидать сына.

— Когда обратный поезд? — спросил Потопов.

— Ночью, в пять часов, — ответил начальник станции, помолчал, потом добавил: — Вы у меня перебудьте. Старуха моя вас напоит чайком, накормит. Домой вам идти незачем.

— Спасибо, — ответил Потопов и вышел.

After he had gone, Tatiana looked carefully in all the drawers of the desk and found a packet of thick twisted candles. She placed them in the candlesticks on the piano. In the evening she lit the candles, sat down in front of the piano, and the house was filled with music.

When she stopped playing and extinguished the candles, there was a smell of sweet smoke in the room as at the time of the Christmas tree.

Varya could not contain herself.

"Why do you touch what is not yours?" she said to Tatiana. "You won't let me, but you touch them yourself. The bell, the candles, the piano, you're touching everything. And you put other people's music on the piano too."

"Because I'm grown-up," Tatiana replied.

Varya knit her brows and looked at her mistrustingly. At that moment Tatiana was least of all like a grown-up. She seemed all radiant and was more like the golden-haired girl who lost a glass slipper at the palace. Tatiana herself had told Varya about that girl.

While still in the train, Lieutenant Nikolai Potapov reckoned that he would not be able to stay more than twenty-four hours at his father's. His leave was very short, and travelling took up all the time.

The train arrived at the small town during the daytime. Immediately, at the station, the lieutenant heard from the stationmaster, whom he knew, that his father had died a month earlier and that a young singer and her daughter from Moscow had settled in their house.

"An evacuee," the stationmaster said.

Potapov remained silent, looking out of the window, where passengers in padded coats and felt boots were running with tea-kettles in their hands. His head was whirling.

"Yes," said the stationmaster, "he was a good soul. And after all he died without seeing his son again."

"When is there a train back?" Potapov inquired.

"In the morning at five o'clock," the stationmaster answered. After a silence he added, "Stay with me. My old woman will give you tea and something to eat. You've nothing to go home for."

"Thanks," Potapov answered and went out.

Начальник посмотрел ему вслед,* покачал головой.

Потапов прошёл через город к реке. Над ней висело сізое небо. Между небом и землёй наискось летел редкий снежок. По унавоженной дороге ходили галки. Темнело. Ветер дул с того берега, из лесов, выдувал из глаз слёзы.

«Ну что ж! — сказал Потапов. — Опоздал. И теперь это всё для меня чужое — и городок этот, и река, и дом».

Он оглянулся, посмотрел на обрыв за городом. Там стоял в инее сад, темнел дом. Из трубы его поднимался дым. Ветер уносил дым в берёзовую рощу.

Потапов медленно пошёл в сторону дома. Он решил в дом не заходить, а только пройти мимо, быть может заглянуть в сад, постоять в старой беседке. Мысль о том, что в отцовском доме живут чужие, равнодушные люди, была невыносима. Лучше ничего не видеть, не растравлять себе сердце, уехать и забыть о прошлом!

«Ну что же, — подумал Потапов, — с каждым днём делаешься взрослее, всё строже смотришь вокруг».

Потапов подошёл к дому в сумерки. Он осторожно открыл калитку, но всё же она скрипнула. Сад как бы вздрогнул. С веток сорвался снег, зашуршал. Потапов оглянулся. К беседке вела расчищенная в снегу дорожка. Потапов прошёл в беседку, положил руки на старенькие перила. Вдали, за лесом, мутно розовело небо — должно быть, за облаками поднималась луна. Потапов снял фуражку, провёл рукой по волосам. Было очень тихо, только внизу, под горой, бреччали пустыми ведрами женщины — шли к проруби* за водой.

Потапов облокотился о перила, тихо сказал:

— Как же это так?

Кто-то осторожно тронул Потапова за плечо. Он оглянулся. Позади него стояла молодая женщина с бледным строгим лицом, в накинутом на голову тёплом платке. Она молча смотрела на Потапова тёмными внимательными глазами. На её ресницах и щеках таял снег, осипавшийся, должно быть, с веток.

— Наденьте фуражку, — тихо сказала женщина, — вы простудитесь. И пойдёте* в дом. Не надо здесь стоять.

The stationmaster watched him go, shaking his head. Potapov went through the town towards the river, over which hung a blue-grey sky. Slantwise between sky and earth flew thin light snow. Jackdaws were walking along the dungstrewn road. It was getting dark. The wind from the other bank, from the woods, blew tears out of his eyes.

“So what!” said Potapov. “I’ve come too late. Now all this, the town, the river and the house, is alien to me.”

He turned back and looked at the bluff on the other side of the town. There lay the garden covered with hoar frost, the house dark against it. Smoke rose from the chimney and was carried by the wind to the birch grove.

Potapov went slowly in the direction of the house. He had decided not to enter, but just to go past, perhaps take a look at the garden and stand a while in the old bower. The thought of strangers, indifferent people, living in his father’s house was unbearable. Better not to see anything, not to embitter his heart, to go away and forget the past.

“Well,” he thought, “you get older every day and regard everything around you more severely.”

He approached the house in the dusk. He opened the gate cautiously, but it creaked all the same. The garden seemed to shudder. Snow fell off the branches with a rustle. Potapov looked round. A path cleared of snow led to the bower. He went up to the bower and laid his hands the time-worn rail. Far away beyond the wood the sky was colouring a vague pink—probably the moon rising behind the clouds. Potapov took off his cap and passed his hand over his hair. It was very quiet, only down at the foot of the hill women were rattling buckets as they went to the ice-holes for water.

Potapov leaned on the rail and said in a low voice:

“How could this happen?”

Somebody touched him lightly on the shoulder. He turned round. Behind him stood a young woman with a severe pale face, a warm shawl thrown over her head. She looked at Potapov in silence with her dark intent eyes. Snow, probably fallen from the branches, was melting on her eyelashes and cheeks.

“Put your cap on,” she said softly, “you’ll catch a cold. And let’s go into the house. You mustn’t stand here.”

Потапов молчал. Женщина взяла его за рукав и повела по расчищенной дорожке. Около крыльца Потапов остановился. Судорога сжала ему горло, он не мог вздохнуть. Женщина так же тихо сказала:

— Это ниче́го. И вы, пожалуйста, меня не стесняйтесь. Сейчас это пройдёт.*

Она постукала ногами, чтобы сбить снег с ботинок.* Тотчас в сенях отозвался, зазвенел колокольчик. Потапов глубоко вздохнул, перевёл дыхание.

Он вошёл в дом, что-то смущённо бормоча,* снял в прихожей шинель, почувствовал слабый запах берёзового дыма и увидел Архипа. Архип сидел на диване и зевал. Около дивана стояла девочка с косичками и радостными глазами смотрела на Потапова, но не на его лицо, а на золотые нашивки на рукаве.

— Пойдёмте! — сказала Татьяна Петровна и повела Потапова в кухню.

Там в кувшине стояла холодная колодезная вода, висело знакомое льняное полотенце с вышитыми дубовыми листьями.

Татьяна Петровна вышла. Девочка принесла Потапову мыло и смотрела, как он мылся, сняв китель.* Смущение Потапова ещё не прошло.

— Кто же твоё ма́ма?* — спросил он девочку и покраснел.

Вопрос этот он задал, лишь бы что-нибудь спросить.

— Она думает, что она взрослая, — тайственно прошептала девочка. — А она совсем не взрослая. Она хуже девочка, чем я.*

— Почему? — спросил Потапов.

Но девочка не ответила, засмеялась и выбежала из кухни.

Потапов весь вечер не мог избавиться от странного ощущения, будто он живёт в лёгком, но очень прочном сне. Всё в доме было таким, каким он хотел его видеть. Те же ноты лежали на рояле, те же витые свечи горели, потрескивая, и освещали маленький отцовский кабинет. Даже на столе лежали его письма из госпиталя* — лежали под тем же старым компасом, под который отец всегда клал письма.

После чая Татьяна Петровна повела Потапова на могилу отца, за рощу. Туманная луна поднялась уже

Potapov remained silent. The woman took him by the sleeve and led him along the clean-swept path. Potapov stopped by the porch. A cramp clutched at his throat, he could not get breath. The woman said in the same soft voice:

“That’s nothing. Please don’t be shy of me. You’ll be all right just now.”

She stamped her feet to knock the snow off her boots. Immediately the bell tinkled in response in the entrance. Potapov sighed deeply and caught breath.

He entered the house, murmuring something confusedly, took off his greatcoat in the entrance, smelt the faint odour of birchwood smoke and saw Arkhip. The cat was sitting on the sofa, yawning. A girl with pigtails stood by the sofa looking with joyful eyes at Potapov—not at his face, but at the gold stripes on his sleeve.

“Come in,” said Tatiana and led Potapov into the kitchen.

There was a jug of cold well-water and the familiar linen hand-towel with oak-leaves embroidered on it hanging nearby.

Tatiana went out. The girl brought Potapov soap and watched him take off his tunic and wash. His embarrassment had not yet passed off.

“What is your mother?” he asked the girl, blushing.

He asked that question just for the sake of asking something.

“She thinks she’s grown-up,” the girl whispered mysteriously. “But she’s not at all. She’s more of a little girl than I am.”

“Why?” Potapov asked.

But the girl did not answer, she started laughing and ran out of the kitchen.

All evening Potapov could not free himself from the strange feeling that he was in a light and yet very sound sleep. Everything in the house was just as he wanted to see it. The same music sheets lay on the piano, the same twisted candles were burning with a crackling, lighting up his father’s small study. Even his letters from hospital lay on the desk, under the old compass under which his father always put his letters.

After tea, Tatiana led Potapov to his father’s grave on the other side of the grove. The misty moon was already

высоко. В её свете слабо светились берёзы, бросали на снег лёгкие тени.

А потом, поздним вечером, Татьяна Петровна, сидя у рояля и осторожно перебирая клавиши, обернулась к Потопову и сказала:

— Мне всё * кажется, что где-то я уже видела вас.

— Да, пожалуй, — ответил Потопов.

Он посмотрел на неё. Свет свечей падал сбоку, освещал половину её лица. Потопов встал, прошёл по комнате из угла в угол, остановился.

— Нет, не могу припомнить, — сказал он глухим голосом.

Татьяна Петровна обернулась, испуганно посмотрела на Потопова, но ничего не ответила.

Потопов постелили в кабинете на диване, но он не мог уснуть. Каждая минута в этом доме казалась ему драгоценной, и он не хотел терять её.

Он лежал, прислушивался к воровским шагам Архипа, к дребезжанию часов, к шёпоту Татьяны Петровны, — она о чём-то говорила с нянькой за закрытой дверью. Потом голоса затихли, нянька ушла, но полбоска света под дверью не погасла. Потопов слышал, как шелестят страницы, — Татьяна Петровна, должно быть, читала. Потопов догадывался: она не ложится, чтобы разбудить его к поезду. Ему хотелось сказать ей, что он тоже не спит, но он не решился окликнуть Татьяну Петровну.

В четыре часа Татьяна Петровна тихо открыла дверь и позвала Потопова. Он зашевелился.

— Пора, вам надо вставать, — сказала она. — Очень жалко мне вас будить!

Татьяна Петровна проводила Потопова на станцию через ночной город. После второго звонка * они попрощались. Татьяна Петровна протянула Потопову обе руки, сказала:

— Пишите. Мы теперь как родственники. Правда?

Потопов ничего не ответил, только кивнул головой.

Через несколько дней Татьяна Петровна получила от Потопова письмо с дороги.

«Я вспомнил, конечно, где мы встречались, — писал

high. In its light the firs shone faintly and cast thin shadows on the snow.

Then, late in the evening, sitting at the piano and running her fingers lightly over the keys, Tatiana turned to Potapov and said:

“I’m thinking all the time I’ve seen you somewhere before.”

“Yes, maybe,” Potapov answered.

He looked at her. The candle-light fell sideways, illuminating half her face. Potapov rose, went from one corner of the room to the other and stopped.

“No, I can’t remember,” he said in a toneless voice.

Tatiana turned round and looked fearfully at Potapov, but made no answer.

They bedded Potapov down in the study on the sofa, but he could not go to sleep. Every minute in that house seemed precious to him and he did not want to waste a single one.

He lay listening to the stealthy steps of Arkhip, the grating tick of the clock and to Tatiana’s whisper—she was speaking to the nurse about something behind the closed door. Then the voices died down and the nurse went away, but the strip of light under the door did not go out. Potapov heard pages rustling, Tatiana was probably reading. Potapov guessed she was not going to bed so as to waken him for the train. He wanted to tell her that he was not sleeping either, but he could not make up his mind to call her.

At four o’clock Tatiana quietly opened the door and called him. He stirred.

“It’s time, you must get up,” she said. “It’s great pity to waken you.”

Tatiana accompanied Potapov to the station through the sleeping town. After the second bell had gone they said good-bye. Tatiana stretched out both hands to Potapov and said:

“Write to me. We’re like relatives now, aren’t we?”

Potapov did not answer, he only nodded his head.

A few days later Tatiana got a letter from him, written during his journey.

“I remembered, of course, where we met,” Potapov wrote,

Потапов, — но не хотѣл говорить вам об этом там, дома. Помните Крым в двадцать седьмом году? Осень. Старые платаны в Ливадийском парке.* Меркнущее небо, бледное море. Я шёл по тропе в Ореанду.* На скамейке около тропы сидела девушка. Ей было, должно быть, лет шестнадцать. Она увидела меня, встала и пошла навстречу. Когда мы поравнялись, я взглянул на неё. Она прошла мимо меня быстро, легко, держа в руке раскрытую книгу. Я остановился, долго смотрел ей вслед. Этой девушкой были вы: Я не мог ошибиться. Я смотрел вам вслед и почувствовал тогда, что мимо меня прошла женщина, которая могла бы и разрушить всю мою жизнь, и дать мне огромное счастье. Я понял, что могу полюбить эту женщину до полного отречения от себя. Тогда я уже знал, что должен найти вас, чего бы это ни стоило. Так я думал тогда, но всё же не двинулся с места. Почему — не знаю. С тех пор я любил Крым и эту тропу, где я видел вас только мгновение и потерял навсегда. Но жизнь оказалась милой ко мне, я встретил вас. И если всё окончится хорошо и вам понадобится моя жизнь, она, конечно, будет ваша. Да, я нашёл на столе у отца своё распечатанное письмо. Я понял всё и могу только благодарить вас издали».

Татьяна Петровна отложила письмо, туманными глазами посмотрела на снежный сад за окном, сказала:
— Бóже мой, я никогда не была в Крыму! Никогда! Но разве теперь это может иметь хоть какое-нибудь значение? И стоит ли разуберять его? И себя!
Она засмеялась, закрыла глаза ладонью. За окном горел, никак не мог погаснуть неяркий закат.

1943

“but I did not want to tell you there, at home. Remember the Crimea in 1927? Autumn. Old plane trees in the Livadiya Park. A fading sky, a pale sea. I was going along the path to Oreanda. A girl sat on a bench near the path. She must have been about sixteen. She saw me, rose and came towards me. When we drew level with each other, I glanced at her. She went past me quickly, holding an open book in her hand. I stopped and watched her receding figure for a long time. That girl was you. I could not have been mistaken. I watched you go and felt then that a woman had gone past who could either ruin my life or give me immense happiness. I understood that I could love that woman to the point of complete self-renouncement. I already knew then that I had to find you, cost what it might. That is what I thought then, but still I did not move. Why? I don't know. Since then I have loved the Crimea and that path where I saw you only for an instant and lost you for ever. But life has shown itself merciful to me, I have met you. And if everything ends well and you need my life, it will, of course, be yours. By the way, I found my letter open on my father's desk. I understood everything and can only thank you from afar.”

Tatiana put the letter aside, looked through misty eyes at the snow-covered garden outside the window and said:
“Good Lord! I have never been to the Crimea. Never! But can that be of any significance now? Is it worth while disabusing him? And myself?”

She laughed, covering her eyes with her hands. Outside the window, the dim sunset was ablaze, unable to make up its mind to be extinguished.

1943

NOTES

LIST OF ABBREVIATIONS

<i>abbr.</i> , abbreviation	<i>imp.</i> , imperfect
<i>arch.</i> , archaic	<i>p.</i> , perfect
<i>colloq.</i> , colloquial	<i>popul.</i> , popular
<i>conj.</i> , conjunction	<i>Ukrain.</i> , Ukrainian
<i>dial.</i> , dialectal	<i>vulg.</i> , vulgar
<i>dim.</i> , diminutive	

Мáя. Ма́я

to page 8

привали́ло насле́дство, привали́ло (*popul.*) 'came, was received unexpectedly and in great quantity,' e.g., сча́стье привали́ло

to page 12

Дне́нь воскресе́ный, It is Sunday. In the next few pages the verbs are all in the present although the action is past. The present is often used in Russian to relate past events. This adds life to the narrative.

Корма́ низкая, The stern is low. In English we would say: the stern is too low. Сли́шком 'too' is often omitted in such cases in Russian.

созна́тельный, conscious. Here political and social awareness is meant.

а вы проя́вили себя́ наобо́рот, It would be correct to say: а вы проя́вили себя́ несозна́тельным.

корма́ действите́льно никуда́, не годя́тся is omitted; никуда́ не годя́тся 'is good for nothing'

Адриа́н Адриа́нович, Адриа́н is a masculine first name. Адриа́нович is a masculine patronymic which means 'son of Adrian.' It is formed by adding *-ович* to the name of the father. The suffix for feminine patronymics is *-овна*.

to page 14

това́рка (*popul.*), fellow-worker (woman)

кайма́к (*dial.*), baked sour cream

to page 16

шко́ла второ́й ступе́ни, the second stage school. Immediately after the Revolution in Soviet Russia there were first stage schools (Forms 1—4) and second stage schools (Forms 5—8) often in separate buildings. Now most secondary schools have 8 or 10 forms all in the same building.

бле́дно промя́млены, from промя́млить 'to say something in a hesitant, vague manner.' The unusual use of this word instead of не́ясно написа́ны, наца́рапаны, makes the passage particularly expressive.

насажда́ть коопера́тивы (synonymous of коопера́ция), to organize collective farms and other production or trade associations. On p. 26 коопера́тив is used colloquially for магази́н.

to page 18

Ко́стя, *dim.* of Константи́н

гря́вка, *dim.* of гря́ва; used of thick wavy human hair

to page 20

грызть, *literally*: to gnaw

зато́пить ками́н, *literally*: to heat the fireplace

Ма́йя, The old grandfather understands Ма́йя — a name of Indian origin, whereas the child means Ма́я — (the first of May) a name frequently given in the first years after the Revolution.

to page 22

Рэм, The grandfather understands Рэм — Remus, the name of the twin brother of Romulus in the legend of the foundation of Rome, whereas the baby's name is Рэм — revolutionary name explained later in the text.

как ма́льчик по́ехал в го́род Ташке́нт за хле́бом, an allusion to the Soviet author Neverov's tale «Ташке́нт — го́род хле́бный» then very popular

to page 24

заве́довала ... расте́ниями, The verb заве́довать is used here with an unusual meaning; usually заве́довать means 'to administer an establishment, office,' etc.

за́тканый коло́сьями, *literally*: woven with ears of corn

to page 28

горе́л оча́г, *literally*: the hearth was burning

ста́лось, from ста́ться; *colloq.* for произойти́, случи́ться

to page 30

крыла́тый, winged, having wings

Иду́ это я (*colloq.*), это is a particle intensifying the preceding word

пара́дная, *popul.* for пара́дное

ба́рышня (*arch., popul.*), used by servants in speaking to or about their master's daughter, especially if of noble origin. It was also used before the Revolution to mean a young girl in general.

гла́зки, *dim. of* глаза́

они́, an archaic and popular use instead of он or она́ in servile speech

Роды на Огуречной земле. Childbirth on Cucumber Land

to page 36

Поля́рное мо́ре, colloquial name of the Arctic Ocean

что ли, colloquial form equivalent to 'perhaps' or 'something like that'

Им гре́зились, they dreamed; *literally*: it dreamed to them

Ди́ксон, an island in the Kara Sea; Ти́кси, a bay in the Laptev Sea; Челю́скин, a cape, the northern point of Taimyr Peninsula

to page 38

Но́рвик, a bay in the Laptev Sea

Бе́лый, an island in the Kara Sea

тчк ... зпт, abbreviations for точка 'stop' and запя́тая 'comma,' used in radiograms

па́рторг, the Party Secretary of local Communist Party Organization (as at a factory, institution, etc.)

to page 40

Серге́й Матве́ич, Матве́ич is the patronymic formed from Матве́й; see note to page 12.

ре́зник, *literally*: a sawbones

to page 42

Ещё́ на кора́бле, already on the ship, as early as on the ship
крабо́лик, *literally*: rabbit; here it means a person used to experiment on 'a guinea-pig'

э́такое, *colloq. for* тако́е (but more expressive)

бу́де, *arch. conj. for* е́сли 'if'

ба́тенька, little father, old chap; a colloquial expression seldom used now

та́м (*colloq.*), here an intensive particle

to page 44

за́годя, *popul. for* за́рание, заблаговре́менно

то́го. This word is often used in Russian conversation to replace a word which the speaker either cannot think of at the moment or does not wish to mention but supposes the person spoken to understands. It is like the English: 'er, you know' or 'what d'you call it.'

Спи́рт выпью́т, *literally*: they will drink the alcohol. The future of a perfective verb is frequently used in Russian to denote an action which was repeated or more or less habitual in the past. Here: They would drink.

почи́кать, отчи́кать (*colloq.*), to make a little chip

па́ньска хвороба́ (*Ukrain.*), ба́рская, господа́нская бо́лезнь

Э́такая дрянь! See note to p. 42, э́такое.

to page 46

кли́мат-с. The particle -с was formerly added to practically any word in conversation, either as a sign of respect and deference to the person spoken to or to add a note of irony. Note that the doctor, an elderly man, is the only person in the story to use it.

Собира́лся было́ на охоту́ сходи́ть... Ду́мал было́..., A verb in the past with было́ denotes that the action in question was intended but not carried out. In such cases было́ is not stressed.

to page 48

Вся́ко, *popul. for* вся́кое

материа́льные усло́вия, all material, especially financial, conditions, salary, etc.

мы́слю, *arch. for* ду́маю

э́так (*colloq.*), particle meaning 'approximately,' 'about'

к ло́жу, ло́же 'couch' is an old word seldom used except by medical staff in this meaning

to page 48

Э́кие, *popul. for* ка́кие (containing an idea of surprise, astonishment)

заб́чные роды́, childbirth at a distance. Заб́чный means 'in one's absence,' 'by proxy,' 'by correspondence.'

Ну-с, See note to p. 46

Он чу́ть было́ не спроси́л..., See note to p. 46.

to page 52

те, что ... находи́лись, those which ... were. Что is often used as a relative pronoun instead of кото́рый, -ая, -ое, -ые. Notice that it then has the number of the antecedent though it is itself invariable in form.

to page 54

бу́кву изме́нишь, а ребёнку́ и рожени́це повреди́шь, Conditional sentences, especially those expressing a supposition or eventuality, are often used with the verbs in the future and without the conjunction

если. Here: If you change a letter you may harm the child and the mother. The second person singular is used here with the indefinite meaning 'you,' 'one.'

далеконько, The suffix *-онько* here has only emotional significance.

Голубчик, This word is used in addressing men with the meaning of 'my dear,' just as its feminine counterpart *голубушка* is used in addressing women. However, the shade of affection or friendship may be changed to one of almost reproach by the context, as is the case here.

Вам-то что? (1) The particle *-то* merely emphasizes *вам*. (2) The whole expression, in which no verb is expressed, means 'what has it to do with you?'

Вы-то чего? This expression has practically the same meaning as *Вам-то что?* but the person spoken to is considered as the subject, not the object: 'What are you worrying about?'

to page 56

постель, *literally*: bedding. This word is used at least as often as *кровать* to mean 'bed,' as here.

to page 58

Мы с Сергеем Матвеевичем, *Sergei Matveich* and I — note the typical Russian use of the 1st pers. plur. followed by the preposition *с* and the instrumental to denote joint agents, where in English the 1st pers. sing. is used with 'and.'

китайская грамота, *грамота* means 'literacy,' 'knowledge.' *Китайская грамота* is the Russian equivalent of 'double Dutch' or 'Greek.'

следя за каракулями, *Каракули* (always plural) is a colloquial word meaning 'scribble,' 'scrawl.'

to page 60

кудрявым ётаким, See note to p. 42.

to page 62

родные, This adjective *literally* means 'native' (as in native land) or 'kindred.' It is used in addressing people not related to the speaker, to denote affection, joy, etc.

человечище, The suffix *-ище* is an augmentative used here to express enthusiasm and admiration: a great man, a grand man.

Неужто, *arch.*, *popul. for* the particle *неужели*

бишь (*colloq.*, *arch.*), particle used to express an effort to remember something

Без свидетелей. Without Witnesses

to page 66

без чувств, *literally*: without any feelings

гулял на свадьбе, The verb *гулять* means 'to walk,' 'to take a walk,' and also 'to make merry,' 'to take part in festivities' or 'to take time off from work.'

дэскать (*colloq.*), particle showing that somebody else's opinion is quoted

to page 68

Подъ-ка (*colloq.*, *imper.*), The particle *-ка* softens the order.

То ли дело (*colloq.*), This expression is used to contrast a person or object with another person or object possessing a higher quality **потемнело в глазах**, *literally*: it went dark before his eyes **на тебе**, colloquial exclamation indicating surprise, unexpectedness

to page 70

неохота, *popul. for* *не хочется*

пустым ходом, When said of an engine this means 'idling.' Here it means 'without working,' i.e. 'without doing any surveying.'

to page 72

двухпудового груза, a two-pood weight (A pood is approximately 16.38 kg or 38.11 lbs.)

to page 74

в его душе, *literally*: in his soul

дней через десять-двенадцать, in about ten or twelve days. A numeral placed after the noun it qualifies denotes approximate number or quantity.

to page 76

горбатого могíла исправит (*proverb*), *literally*: the grave will straighten a hunchback

Того и гляди, a colloquial expression containing a supposition that something may happen suddenly: 'just suppose...'

to page 78

мол, particle showing that somebody else's opinion is quoted

Допрыгаешься, The addition of the prefix *до-* and the reflexive particle *-ся* conveys the meaning of the action being performed to a certain degree with definite consequences, pleasant or unpleasant, for the performer.

to page 80

детана, feminine in form but masculine in gender: a hefty, strapping young fellow

баба, *popul.*, *vulg. for* *женá*

урод, *literally*: monster

to page 82

уместилось в нём, fitted entirely in it

to page 86

грызть, *literally*: to gnaw
сжевать (*colloq.*), *literally*: to chew away
костить, *popul. for* бранить, ругать

to page 88

иждивение, dependence for food, living, etc.

to page 90

разговоры ... полунамёками, *literally*: talk in veiled hints

to page 94

«Легко на сердце от песни весёлой», words from a popular Soviet song; music by I. Dunayevsky, words by V. Lebedev-Kumach

to page 100

обольщаться, to flatter oneself

to page 104

на своём горбу, *popul., vulg. for* на спине

to page 108

сало, thin ice or small pieces of ice formed on a river before it freezes over

шурá, thin, brittle ice formed on a river before it freezes over

Отче наш. Our Father

to page 114

Отче наш, 'Our Father' are the first words of the Lord's prayer in Old Church Slavonic. The extract from the prayer given later is in the same language.

Я хочу спать, I am sleepy, *literally*: I want to sleep. Note other uses of the verb хотеть: Я хочу есть. I want to eat, i.e. I am hungry; Я хочу пить. I want to drink, i.e., I am thirsty.

Господи!, 'Lord' is now used only as an exclamation.

валенки, boots woven out of felt without any seams and reaching almost up to the knees. They are used in the country in very cold weather.

двадцать пять градусов мороза, twenty-five degrees of frost, i.e. -25°C or -13°F

to page 116

С добрым утром! means '(Congratulations) on a good morning.' In conversation the formula is simply: Доброе утро 'Good morning.'

to page 118

чугунная тумба, an iron mounting block such as were to be seen in Russian streets when horses and horse-drawn carriages were in wider use

to page 120

рот, *literally*: mouth. 'Lips' would be used in English instead of 'mouth.'

to page 122

кефир, an acidulous beverage made of fermented cow's milk
бублик, a thick ring-shaped roll of bread
ручка, *dim. of* рука

to page 124

болеть (*colloq.*), to support (a football team, etc.)

Бже мой!, *literally*: 'My God!' corresponds to the English exclamations 'My goodness!' or 'Goodness gracious!'

to page 126

отсидеться (*colloq.*), *literally*: to remain in safety till some danger passes

там будет видно, *literally*: there it will be seen, i.e. then we shall see

солдатня, collective noun, popular for солдаты 'soldiers' (pejorative)

to page 128

в подшитых валенках, means 'in valenkys with soles sewn on'

to page 130

«ша-нуár», the Russian transcription of the French 'chat noir' ('black cat')

бадега, a word used in some parts of southern Russia and south-eastern Europe to denote a cheap café

Шевченко, Taras Grigorievich Shevchenko (1814—1851), a famous Ukrainian poet, painter and revolutionary democrat

Комаров. Комаров

to page 136

мётрах в пяти, See note to p. 74, дней через десять-двенадцать

что тебе говорят...!, What did I tell you...! In rebukes drawing attention to a previous order the Russians often use the third person plural instead of the first person singular and the present instead of the past.

колобродить, *popul. for* озорничать 'to be naughty'
гривенник (*colloq.*), a ten-copeck piece
панáма, a panama hat. The name is also given to cloth summer hats worn by children in the U.S.S.R.

Рóжица, diminutive of рóжа, a vulgar word for 'face' (something like 'pan' in English). In the diminutive it is frequently used to convey pleasantness and endearment. Then it is not vulgar — 'a nice little face.'

to page 138

воспитáтельница, *literally*: educator, the name given to kindergarten and nursery-school teachers in Russia

чегó, *colloq. for* почему

стáвила в тупик, *literally*: placed in a blind alley, here means 'nonplussed'

Я после обеда тяжёлый, Here there is a pun in Russian which is difficult to render in English. Тяжёлый means 'difficult' or 'heavy.' In answer to the words 'A difficult child,' the boy answers 'I am heavy only after dinner.'

медсестра́, *abbr. for* медицинская сестра́

Подъём! an order used in Russian in the army, sports camps, boarding schools, etc., meaning literally 'Reveille'

клуша, *popul. for* курица, насédка

Одеваться и стрóиться!, an order expressed by the infinitive, as is often the case in Russian. In English the imperative would be used.

А купáться кто бóдет?, *literally*: And who's going to bathe? It would be 'Aren't we going to bathe?' in English.

Пошли́!, the past used for the imperative: 'Let's go!'

to page 140

пыта́ется (and the verbs in the next few paragraphs), The verb is in the present, though it refers to the past. The use of the present gives greater liveliness to the account.

выпра́стывать *popul. for* освобождáть

забира́л, here *popul. for* поднима́ться

не обжи́тые, not lived in, not having the appearance of being lived in, abandoned

to page 142

поделóм, *colloq. for* по заслúгам, так и слéдует

Мне приходилось, I had to, I had the opportunity to

нару́шить запрéтную зóну, *literally*: to violate the prohibited zone

блюсти́, *arch. for* следáть за...

подстерегáли, lay in wait for, lay in ambush

to page 144

Попáлась!, *literally*: 'You are caught' from попáсться 'to get caught'

острека́ться, *popul. for* обже́чься крапíвой

схорони́л, *arch. popul. for* спря́тал

не дава́л спýску, gave no quarter

to page 146

экза́куция, was formerly an official term meaning 'execution of a sentence.' It is sometimes used in the meaning of 'a punitive expedition', 'a flogging.'

лоба́стая голова́, *literally*: head with a big forehead

to page 148

нена́роком, *popul. for* ненаме́ренно, случа́йно

to page 150

Дава́й водиться́, Let's be friends. Let's play together.

обла́ва, generally 'a raid' or 'a search' organized by the police or the military

чегó, *popul. for* почему́

Случай с Диккенсом. A Dickens Incident

to page 154

Феодóсия, a port in the Crimea

паца́н, *popul., vulg. for* ма́льчик

что такóе за книга́, *popul. for* что э́то за книга́

Вот э́то завинчeно, *literally*: 'That is screwed up tight.' It means approximately 'That's piled on thick.'

убе́й меня́ бо́г!, God strike me dead (if what I say is not true)!

До ма́мы (*Ukrain.*)=In Russian к ма́ме

глотáет слюну́, *literally*: swallows saliva, i.e. gulps with excitement

уже́ не скрыва́ясь, *literally*: no longer hiding, i.e. no longer trying to hide his tears

имей ка́плю совести́, *literally*: have a drop (a bit) of conscience
собственник, 'man of property'

базáрная душа́, a market soul. These expressions reflect the fisherman's attitude to the boy who, it seems to him, clings to the book because it is his property and considers it only according to its purchase value.

той (*Ukrain.*)=стой
Та (*Ukrain.*)=да, an intensive particle used at the beginning of an answer to mean that something is self-evident: of course
Тако́й прили́пчивый, *literally*: so sticky, i.e. so interesting you can't tear yourself away

Прито́чная трава́. Good Luck Flower

to page 156

Прито́чный, *literally*: of affluence
прото́ченный, *literally*: bored out

to page 158

напуска́ть на себя́ сурбо́сть, to try to look severe
мило́к (*popul.*), generally used in affectionate talk with man

to page 160

бабушка, grandmother. Note that Russians often use names of relatives in speaking to strangers. Бабушка is used in talking to an elderly woman, дед 'grandfather' in addressing an elderly man, дядя 'uncle' and тётя 'auntie' are used by children when speaking to grown-ups whose names they do not know.

притворённый (*popul.*), participle of притвориться 'to pretend'
До се́го вре́мени, *literally*: to this time; се́го, gen. masc. sing. of сей, сия́, сие́, сий 'this,' a bookish and rather archaic word rarely used in conversational Russian

Шипо́вник. Sweet Briar

to page 162

Ма́ша, diminutive of the feminine name Ма́рия

to page 164

Кака́я там де́вичья грусть, *literally*: What kind of maidenly melancholy is that!

Небо́сь, is a parenthetical word denoting probability. Небо́сь бу́дет тверди́ть... 'Probably he will always be repeating...'

Как хва́тит (*colloq.*), generally used in speaking of natural phenomena which operate suddenly and with great force: хватил ве́тер (мо́роз)

Дед. See note to p. 160, бабушка.

Чего́, *popul.* form of что.

в мо́ём существова́нии (*popul.*), instead of в моёй жи́зни

to page 166

что, See note to p. 52.

to page 168

Андре́й Рублёв, a great Russian painter (1360—1430)

Станисла́вский, Konstantin Sergeevich Stanislavsky (1863—1938), a great Russian and Soviet theatrical actor, producer and theoretician, co-founder of the Moscow Art Theatre

«Соловь́й, соловь́й...», words of a song, the music to which was written during the Second World War by the Soviet composer Vasily Solovyov-Sedoy

to page 172

корзи́ны под колхо́зную карто́шку, baskets for the collective farm potatoes. Под followed by the accusative is used to denote purpose or use.

Во, *popul.* for the intensive particle вот
годо́в (*arch.*, *popul. form*), instead of лет

Да́ле, *popul.* for да́льше

горла́ч (*dial.*), a thin-necked vessel for milk

Георги́евские кавале́ры, knights of St. George. The St. George's cross and medal were awards given to military personnel in tsarist times for exploits on the battlefield.

to page 174

Что же э́то тако́е?, a question expressing perplexity

Вот э́то да!, an exclamation of admiration

песту́н (*arch.*), заботли́вый воспита́тель 'a solicitous nurse' or 'tutor'

to page 178

«Я не люблю́ ирони́ твоёй ...», first lines of a poem written in 1850 by Nikolai Alexeyevich Nekrasov (1821—1878), a great Russian poet

to page 180

гражда́ночка (*popul.*), dim. of гражда́нка; гражда́нин, гражда́нка are used in addressing strangers

«казе́нка», a noun coined from the adjective казе́нный 'official.' Here it means an official billet as opposed to private lodgings with the local inhabitants.

to page 182

Сте́па, the diminutive of the masc. name Степа́н
Сталингра́д, now Волгогра́д

Старый повар. The Old Cook

to page 186

завален, heaped up with; short form past participle passive of **завалить**

цепной пёс, *literally*: chain dog, i.e. watchdog

уже не мог лаять, *literally*: already could not bark, i.e. could no longer bark

девушка лет восемнадцати, a girl of about eighteen. See note to p. 74.

струны ... пели, the strings sounded. The verb **петь**, which means 'to sing' when used of people, is also used in speaking of musical instruments.

Я всегда не любил, *literally*: I always did not like, i.e. I never liked

to page 188

Хотя я не священник, но это всё равно. Note that when a subordinate clause beginning with **хотя** 'although' is placed before the principal clause, the latter generally begins with **но**. If the principal clause is placed first, it does not begin with **но**. See later in the text: **По-моему, это цветы яблони, хотя отсюда из комнаты они похожи на большие тюльпаны**.

чахоткой, with consumption. The word **чахотка** is now almost exclusively colloquial, being generally replaced by **туберкулёз**.

её звали Мартой, she was called Martha, Martha was her name. The third person plural of the verb without any subject expressed is equivalent to English indefinite constructions with 'they' or 'one' or the passive 'they called her,' 'one called her,' 'she was called Martha.'

лекарь (*arch.*), physician. Now the word **врач** is used.

сударь (*arch.*), sir (not used since the 1917 Great October Socialist Revolution)

to page 190

как будто на пол бросили сотни хрустальных шариков, as though hundreds of crystal balls were thrown on the floor. See note to p. 188, **её звали Мартой**.

to page 192

запёл, See note to p. 186, **струны пели**.

Меня зовут Вольфганг Амедей Моцарт, See note to p. 188: **её звали Мартой**. Note that with this construction the name may be in the instrumental or the nominative.

Снег. Snow

to page 194

Татьяна Петровна, Татьяна, feminine first name; **Петровна**, feminine patronymic from **Пётр**, the name of the father. The masculine patronymic is **Петрович**.

за облетевшим садом, beyond the leafless garden; **облетать** (*imp.*), **облететь** (*p.*), speaking of leaves, means 'to fall off.'

домашкам, dative plural of **домашко**, diminutive depreciative of **дом** 'ugly little house'

выступать, to perform, to sing. This verb may also mean 'to make a speech' (**выступать с речью**), 'to support someone' (**выступать за кого-либо**).

в лазаретах, in the military hospitals

рояль, grand piano; **пианино**, upright piano

пожелтевшим, dative plural of **пожелтевший** 'turned yellow,' from the verb **пожелтеть**, 'to turn yellow'

Варе не позволяли, Varya was not allowed. See note to p. 188, **её звали Мартой**.

to page 196

вы так и не припомните...?, **так и** has intensifying significance and can be rendered by 'really,' 'after all'

на имя, addressed to; not to be confused with **во имя** 'in the name of'

кот, tom-cat; **кошка**, strictly 'female cat,' may be used irrespective of sex

to page 198

ноты, plural of **нота** 'notes,' also means 'music sheets'

«Пиковая дама», 'The Queen of Spades,' opera by Tchaikovsky based on Pushkin's tale of the same name

«Для берегов отчизны дальной», romance by A. Borodin, words by A. Pushkin

умываться с дороги, to have a wash after a journey

уголок, diminutive of **угол** 'corner'

со дня на день, any day; not to be confused with **изо дня в день** 'from day to day'

высоким голосом. *literally*: in a high voice. The word **голос** 'voice' may also be used in speaking of musical instruments, bells, etc. to mean 'pitch,' 'tune,' 'round.' Cf. **струны пели**, p. 186.

Невидал, The Czech name Nevidal resembles the Russian word **невидаль** 'something never seen before.' That is why the author says it is a funny name.

to page 200

ёлка, fir-tree, New Year tree

девушка с золотыми волосами, которая потеряла хрустальную туфлю, i.e. Cinderella of Perrault's and the Grimms brothers' tales
хоробшей души был человек, *literally*: he was a man of a good soul, i.e. he was a good soul

to page 202

посмотрел ему вслед, *literally*: looked following him, i.e. watched him go

проруби, dative of прорубь, a hole made in the ice of a river, lake, etc., fishing or drawing water

пойдёмте, The particle *-me* is often added to an imperative to make it more polite.

to page 204

сейчас это пройдёт, *literally*: it will pass away just now

ботинки, warm boots or snow boots

бормоча, muttering, imperfective verbal adverb of бормотать 'to mutter,' 'to mumble'

смотрела, как он мылся, сняв хитель, watched him wash himself, having taken off his tunic, i.e. watched him take off his tunic and wash

Кто же твой мама? This means 'What is your mother?' (What is her profession?)

Она хуже девочка, чем я. She's more of a girl (*literally*: a worse girl) than me.

госпиталь, This word, like лазарет, is used to denote a military hospital. An ordinary hospital is called больница.

to page 206

всё, constantly, all the time

После второго звонка. After the second bell. Formerly a bell was used at Soviet railway stations to warn people of the impending departure of a train.

to page 208

Ливадийский парк, Livadiya Park near the village of the same name in the Crimea, formerly an estate of the tsar. It was in the palace on this estate that the allied Yalta Conference took place during the Second World War in February 1943.

Ореанда, a seaside resort near Yalta in the Crimea

Подписано к печати 12/IX 1972 г. Формат 84×108¹/₃₂. Бум. л. 3¹/₂.
Печ. л. 11,76. Уч.-изд. л. 10,74. Изд. № 16277. Заказ № 39. Цена 77 к.
Тираж 22 000.

Издательство «Прогресс» Государственного комитета Совета
Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли. Москва Г-21, Zubovskiy bulvar, 21

Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфический
комбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета
Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной тор-
говли. г. Калинин, проспект Ленина, 5